

Юрий  
АРАКЧЕЕВ



ПОИСКИ  
АФРОДИТЫ

18+

# Юрий Сергеевич Аракчеев

## Поиски Афродиты

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=38278224](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38278224)*

*SelfPub; 2019*

### **Аннотация**

«Перед вами – не роман и не повесть», – сказано в предисловии этой книги. – «Это – книга о счастливой жизни...» В книге все – правда. Никаких фантазий и иносказаний. Сквозная – и главная! – тема книги «Поиски Афродиты» – сохранение и развитие личности человека – мужчины, гражданина своей страны, писателя и фотохудожника. И – ЛЮБОВЬ. Ко всему живому на этой планете, но в первую очередь – к тому, что, по глубокому убеждению автора, есть Венец Творения и Посланица богини Любви, Афродиты. К Женщине. В оформлении книги использованы работы автора.

# Содержание

Женский взгляд	8
Пролог	25
Часть 1. Прелюдия	33
Начало	33
Девочка	35
Война	37
Цветы	46
Дом	50
Отец	56
Первая любовь	62
Бабочки, фотография, книги...	69
Бабушка и сестра	73
Охота	75
Проблемы	78
«Нимфа» Ставассера и «Купальщица» Коро	83
Смерть бабушки	86
Тетеревиный ток и рыбная ловля	89
Дневник	94
Она	96
«Как закалялась сталь»	107
Моя комната	112
Первый тетерев	119
Еще победы	123

На лекции в МГУ	127
Безнадега	134
Ленка	141
Кто сумасшедший?	148
Финиш	156
Алексей Козырев	159
Возвращение	163
Самый длинный день	169
Чудо	194
Часть 2. Освобождение	200
Дебют	200
Рая	231
Стефан Цвейг и Казанова	262
Лариса	271
Несостоявшееся	280
Галя...	286
Зина	290
Лора	295
Утоли мои печали...	313
Зомби	325
Дальнейшее	329
Седьмая, восьмая, девятая...	332
Конец ознакомительного фрагмента.	334

## *Предисловие автора*

Эта книга – фактически исповедь. Здесь все – правда, во всяком случае такая, какой я ее ощущаю. Тема – одна из самых главных в жизни каждого человека, а на мой взгляд – самая главная: взаимоотношения мужчин и женщин.

Что бы кто ни говорил, но жизнь каждого человека начинается именно со встречи мужчины и женщины, будущих отца и матери нового существа. При всем огромном количестве сочинений на эту тему, как-то не принято говорить о том, с чего конкретно начинается рождение человека: о сексуальном соединении мужчины и женщины. Меня, как, я уверен, и многих, чуть ли не с самого детства волновал этот, так называемый «гендерный» вопрос. Я родился в Советском Союзе в те годы, когда школы были мужские и женские, и девочки, ученицы женской школы, да и просто соседки по дому, казались мне существами с другой планеты, совсем не такими, как мы, мальчишки. Чувство преклонения перед таинственным женским началом не покидало меня никогда. Став взрослым, задумываясь над этим вопросом, я вдруг осознал, что ведь вообще все живое в этом мире разделено на два пола, и продолжение жизни связано с их соединением. Так что ничего удивительного в моем особом отношении к женскому началу, как я понял, нет. Меня гораздо больше удивляло другое. Меня удивляла постоянная, противоестественная, привычная ложь окружающих, связанная с

этим вопросом. Почти никто – ни мужчины, ни женщины – не говорит честно на эти темы. Спрашивается: почему? Мне много есть, что сказать об этом. Я прожил долгую жизнь, и этот вопрос волнует меня сегодня фактически так же, как всегда.

Эта книга не претендует на всеохватывающее исследование. Но в ней я с полнейшей искренностью говорю о своей жизни и своем эротическом опыте. И многих скорее всего удивит моя непривычная откровенность. Кое-кому она может показаться даже неприятной. Но я полностью убежден, что каждый человек – и мужчина, и женщина – должен честно относиться и к своему поведению в этих отношениях, и к поведению своих «партнеров». Ложь, которая царствует в этих вопросах, отравляет всю нашу жизнь именно потому, что они влияют буквально на все наши поступки, хотя мы далеко не всегда это осознаем. Что касается меня, то именно честное отношение ко всему этому не только помогало мне в жизни, но во многом делало ее интересной, насыщенной, иногда мучительно сложной, однако именно в этих отношениях я испытывал самые сильные, в том числе самые радостные ощущения.

Детство и юность были у меня очень трудными, болезненными, сиротскими, полуголодными, как, впрочем, у многих в те годы. И тем не менее, преклонение перед светлым женским – девичьим – началом поддерживало меня в самые тяжелые моменты жизни.

Я никому ничего не навязываю. Каждый волен относиться к своей жизни так, как он считает нужным. И каждый вправе воспринимать эту мою исповедь так, как он чувствует. Но, повторяю, это честная попытка поделиться с другими своим немалым опытом.

Но эта книга не только о моем эротическом опыте, она вообще о жизни. О становлении человеческой личности. И еще должен признаться, что я всегда считал и считаю главным божеством, которое постоянно поддерживало и воспитывало меня, – Афродиту, Богиню Красоты и Любви. И именно Афродите в первую очередь я и посвящаю этот свой благодарный отчет.

*Юрий Аракчеев, 2019 год*

# Женский взгляд

## Три отзыва о рукописи «Поиски Афродиты»

«...Все началось с того, что я подружилась в ЖЖ с Ольгой. Заглавным постом в ее журнале стоит неоконченный пока роман «История любви» – о встрече, взаимоотношениях и об удивительной любви писателя и 15-летней очаровательной девушки. Действие автобиографического романа начинается в 1988 году, а та 15-летняя девушка и есть Ольга. Они встретились, затем расстались на десять лет, и, наконец, снова встретились – на этот раз, чтобы больше никогда не расставаться. Как-то раз я прочитала эти несколько постов, которые войдут в состав будущего романа – залпом. Помню, тогда стоял какой-то совершенно дождливый унылый день, который согрело чтение этой романтической, светлой истории.

У меня есть подруга, которая читает исключительно биографии и основанные на реальных событиях книги. Она любит повторять: «Жизнь – такая интересная! Зачем читать вымысел, когда полно реальных сюжетов?» В какой-то мере я с ней согласна, хотя люблю разные жанры. Жизнь действительно может быть невероятно интересной и увлекательной. Если мне посчастливилось убедиться на своем примере, то на чужих убедились в этом, наверное, все.

Однажды из ЖЖ Ольги я прошла по ссылке в журнал ее

мужа, писателя и фотохудожника Юрия Аракчеева.

В нем опубликован роман «Поиски Афродиты», о котором я сегодня хочу рассказать.

«Поиски Афродиты» – летопись человеческой жизни. Непростой, но в то же время удивительной и особенной человеческой жизни. Писатель Юрий Аракчеев вел дневники с ранних лет. По ним он восстановил все важные детали своей жизни. Без купюр.

Мне понравилось высказывание какого-то журналиста, который писал о фотоальбомах Юрия Аракчеева. Я ее перефразирую и скажу о книге: утверждать, что эта книга об эротике – это как говорить, что Хемингуэй в повести «Старик и море» писал о рыбном промысле в прибрежных водах.

Это настолько откровенная книга, что иногда пробирает дрожь. И дело не в сексе и эротике, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что она – как исповедь. Писатель пишет не только о достижениях и взлетах, он исповедуется перед читателями за свои промахи, ошибки, страх... Особенно – в первой части книги, где речь идет о юности. В этом пронзительная откровенность этой книги.

Да, эротики и секса в книге очень много. Все-таки за свою жизнь фотохудожник снял обнаженными несколько сот прекрасных женщин и с более чем сотней был близок!

Обо всем этом он подробно рассказывает. И все это происходило в 70-е, 80-е! Когда за такие съемки и «распространение порнографии» могли посадить!.. Да что там, привлечь

по статье тогда могли только из-за того, что человек официально не работал («Тунеядство») или занимался предпринимательской деятельностью...

*«Гости ходили десятками, не одна сотня перебивала уже на новой квартире... Увидев на экране полностью обнаженных девушек, некоторые в первый момент испытывали шоковое состояние – как потом честно мне признавались, – ведь немало было таких среди моих соотечественников, кто, даже будучи женатым много лет, имея взрослых детей обоего пола, не видел никогда полностью обнаженного, молодого и красивого женского тела. Ибо даже исполняя «супружеский долг», они делали это, не глядя, в темноте. Да что говорить! Я и сам-то еще не полностью освободился от приступов мистической смутной тревоги (да и не только мистической, а и вполне реальной, связанной с Уголовным Кодексом), когда фотографировал, когда показывал потом гостям на экране (с разрешения, с разрешения, девочки не возражали!). Особенно – если более-менее явственно было видно то, что у женщин находится внизу живота (и что я так искренне уважал), особенно, если хоть чуть-чуть раздвинуты ноги и видно то самое – греховное, понимаешь! «ведьминское» – не обитель ли самого Дьявола?... Теперь эти страхи кажутся просто дикими, смешными, позорными, трудно, небось, молодым поверить, что они могли быть. Но они были. И за это сажали».*

Такие были времена. Подчеркиваю для любителей раскрасить социалистический период яркими розовыми красками. Однако фраза о том, что в СССР секса не было – несусветная чушь. Секс в СССР был. Еще какой! О нем тоже – в этой книге.

Юрий Аракчеев бросил вызов системе. В юности он ушел из университета, где учился на физика, чтобы следовать своей мечте – стать писателем. И стал. При этом не прогнулся, не стал сочинять «социалистический реализм» в угоду партийцам, а остался честным перед самим собой и читателями. О рождении идей для произведений, изнурительных битвах с советской цензурой – тоже в этой книге. Отдельно – о битвах ежедневных с ханжеством, закомплексованностью, трусостью людей...

Сам Юрий Аракчеев в книге говорит, что посвятил свою жизнь прекрасным златокудрым Афродите и Апполону – богине красоты и богу искусства. Этот человек, с самого ухода из университета, кажется, не делал того, что бы ему не нравилось. Он не «встал на рельсы» (его выражение) и не повторил миллионы серых судеб... Напротив, рискуя, не оглядываясь назад и на общественное мнение, он шел к своей мечте.

*«То, о чем я рассказываю в этой рукописи – поездки, путешествия, съемки девушек и природы, слайдфильмы и конечно, конечно – писательство! – вовсе не скрашивали мою жизнь, они делали ее НАСТОЯЩЕЙ. Что важно для человека? Здоровье душевное, духовное, телесное и самореализа-*

ция в жизни. И то, и другое у меня было: я занимался любимым делом, познавал окружающее, читал книги, путешествовал, общался с людьми – не тратя силы и время на всякую ерунду: карьеру, приобретение ненужных вещей, служебные «хозяевам», общение с теми, кто мне неприятен».

К сожалению, новая российская реальность не с распростертыми объятиями приняла талант Юрия Аракчеева. Его произведения оказались «неформатом», по мнению издателей. Но, может быть, с выходом в печать книги «Поиски Афродиты» все изменится? Я уверена, если об этой книге узнают и заговорят, ее ждет успех.

Я искреннее желаю этого Юрию и его потрясающей музе – Ольге».

*Юлия Л., Нью-Йорк*

«У этой истории будет несколько затянутое начало. Началась она так: я совершенно случайно познакомилась с фотографическими работами Юрия Аракчеева. На фотографиях меня особенно поразила не природа, не бабочки, не «правильные» (ненавижу это слово в контексте разговоров об искусстве) ракурсы, а женщины. Точнее, то, как эти женщины сняты. Ни тени современного гламура, под которым порой и лицо модели разглядеть сложно, не говоря уж о теле (хотя ведь НЮ), немного старомодно, как нынче сказали бы фотографы, но каждая из моделей буквально дышит красотой и чистотой. При том, что НЮ, да, и порой достаточно откоро-

венное. Я до сих пор помню тот момент, когда я впервые увидела работы Юрия. Да, конечно, до этого я видела красивые фотографии – неправильно было бы говорить что-нибудь вроде «сейчас ничего хорошего не снимают, ведь Фотошоп и цифра», но о работах Юрия мало сказать просто «красивые». В каждой из них есть очень редкая для современных (только для современных ли?..) деталь: они полны смысла и сути. Точнее, замыслом того, кто их сделал. Когда вы смотрите на фотографию, вы видите, прежде всего, замысел, а только потом у вас загорается лампочка – о, так здесь обнаженная женщина, да еще в откровенной позе... если загорается. Потому что фотографии Юрия прикасаются к чему-то очень тонкому в душе. Это что-то оперирует другими понятиями, не делит мир на обнаженный или одетый, на хороший и плохой, на откровенный или не очень откровенный. Ну, о фотографиях можно беседовать много и долго, и это, конечно, разговор совершенно отдельный. Теперь, думаю, вы понимаете, что при таком раскладе я не могла не заинтересоваться прозой Юрия. И вот «Поиски Афродиты».

Я читала книгу дважды – что, надо сказать, подвиг с точки зрения большинства читателей, ведь там «многабукаф». Первый раз читала, каюсь, по верхам. Точнее, где-то на второй трети книги поняла, что читаю по верхам, потому что в голове упрямо бился пока что обезличенный и неозвученный вопрос: здесь есть то, что я давно ищу, но что? И вот, когда я начала читать во второй раз, многие вещи заняли свои

места. Как говорят у нас, «у меня упал жетончик». Я поняла, что передо мной не книга, а самая настоящая драгоценность.

Да не обманет будущего читателя сухое определение «автобиография», которое я могу дать книге в самом начале. Это в разы больше, чем автобиография. Это не книга о трудностях, через которые проходит творческий человек в борьбе за свои убеждения и истины. Это не книга о победах на любовном фронте. Это не книга о том, как сложно приходилось фотографу, снимающему обнаженных девушек (в том числе), в советские времена, и какой опасности от себя подвергает. Это книга о поиске красоты. О великом, длиною в жизнь, поиске красоты – да нет, Красоты – который так или иначе ведет каждый творец, будучи приверженцем своих идеалов.

Это книга о красоте – и о языке, на котором говорит красота. Это книга о том, как важно быть верным себе, честным с самим собой, и о том, как важно идти по собственной дороге, которую тебе подсказывает сердце, идти и не сворачивать, что бы ни происходило. Это прекрасная книга. Я очень, очень рада, что она попала мне в руки, и попала в нужный момент – тогда, когда я уже прошла отрезок своего пути и поднялась на несколько ступеней. Теперь я могу чуть лучше понять то, о чем пишет Юрий. Я это поняла – и это меня обрадовало еще больше.

Эту книгу прочтут немногие, но, думаю, это правильно – так оно и должно быть, это вещь не для всех. Мало кто из

открывших ее доберется до первой трети, еще меньше доберется до трети второй. Но найдется и тот, кто дочитает до конца, пройдет путь (точнее, отрезок пути – ведь сам по себе этот путь бесконечен) до конца вместе с автором. Последних будет очень мало, но книга не просто заставит задуматься – она проникнет в самое сердце сердца, и вы по-другому взглянете на уже знакомые и, казалось бы, прожитые от начала до конца вещи. Это удивительная и очень нужная книга. Я не раз вернусь к ней – есть часть моментов, которые мне необходимо осмыслить. Это очень важная книга. Ее нужно прочитать. Хотя бы попытаться прочитать. Особенно тем, чья жизнь так или иначе связана с творчеством и искусством. Хотя книга, собственно, не о творчестве и искусстве, а, скорее, о том, что сама жизнь – это и есть искусство, и мы эту жизнь творим сами.

И напоследок – пара личных мыслей.

Юрий. Я хочу сказать Вам спасибо. Не читательское, нет. Огромное человеческое спасибо за эту книгу. Я нашла в ней ответы на часть вопросов, которые волновали меня много лет. В том числе, и ответы на еще не сформулированные вопросы, на не до конца осознанные. Я очень рада, что начала знакомство с Вашим творчеством. Огромное Вам спасибо за искренность, правду и прямоту – такие редкие в наши дни, и от этого еще более ценные. Думаю, Вы уже не раз слышали нечто подобное, но в процессе чтения ощущение у меня было такое, будто это написано для меня. Я читала и удив-

лялась – нет, конечно, я и до этого встречала в книгах "отзвуки" своих мыслей, но чтобы кто-то описывал испытываемые мной на глубинном, личном уровне ощущения? Такого не было ни разу. Если попытаться описать ощущения поточнее, то это, наверное, будет выглядеть так: я чувствовала, как кто-то берет меня за руку и ведет вперед. Это прекрасное ощущение, и за него я должна сказать Вам отдельное спасибо. А также и за ощущение почвы под ногами, за ощущение уверенности, которое мне подарила Ваша книга.

Жаль, что я не могу сказать Вам этого при личной встрече – мне кажется, такие вещи нужно говорить, глядя в глаза. Говорить и еще раз повторять, насколько ценна Ваша работа по определению, работа мастера, вложившего душу в то, что он создал, и как возрастает ее ценность в мире, где в ходу у большинства, увы, отвечающие совершенно другим представлениям вещи... Поэтому спасибо Вам огромное еще раз. Много раз. Не думаю, что слова могут в достаточной мере выразить то, как я Вам благодарна. Я по-новому взглянула на Ваши фотографии, и я продолжу знакомиться с Вашими книгами. Вы делаете очень важные вещи, Юрий. Важные и нужные. И это прекрасно, что в мире есть хотя бы один такой человек, как Вы. Это значит, что мир не безнадежен, хотя реальность порой упрямо убеждает нас в обратном. Это значит, что у нас есть шанс – хотя бы один, малюсенький, мизерный – прийти к светлому и радостному будущему».

*Анастасия Эльберг, Израиль*

«Мне повезло читать эту книгу фактически первой, и к тому же не раз, и не два, а целых девять. Для меня вообще всегда показатель качества книги – хочется ли ее перечитать. Ведь первое чтение – чаще всего просто ознакомительное: что там случилось, чем закончилось. А вот второе чтение – если оно состоялось – уже гораздо глубже и интереснее: ты не мчишься за повествованием, а наслаждаешься деталями. Если, конечно, повезло и книга хорошая. Эта же книга каждый раз открывалась по-новому, она редкой глубины, что и неудивительно, ведь это книга-исповедь, книга-судьба. Судьба человека, судьба писателя, судьба художника. То, что описано в ней – откликается всегда по-разному, в зависимости от собственного состояния. Одно из главных моих впечатлений от этой вещи было, что такая жизнь, которая описана – когда человек идет своим путем, и в итоге побеждает – в принципе возможна! Потому что обычно люди, рискнувшие пойти своим путем, не выдерживают, сдаются, либо впадают в крайности... Тем более хотелось понять – как, за счет чего, какими силами человек, к которому с самого начала судьба не была благосклонна, мягко говоря – потеря близких, болезни, бедность, одиночество, непонимание – не только не отчаялся, особенно в свете первых неудач и бед, связанных в том числе с самым интимным, самым уязвимым, но наоборот – выстоял, научился, преодолел и победил. И сохранил свое чистое восприятие, остался верен ему,

несмотря на жесткие испытания, когда чаще всего люди ломаются, перестают верить в лучшее, смиряются и свыкаются с тем, что «принято».

Поэтому, наверное, эта книга «не для всех», и уж тем более не для тех, кто шарахается от правды жизни, боится. Она для ищущих, для тех, кто хочет прожить именно свою жизнь – вопреки стереотипам, и при этом свободно и радостно. По сути, человек, для которого литература не развлечение, а учебник жизни, помощь – ищет в книгах поддержку, подтверждение или опровержение своим мыслям о жизни, чтобы сделать тот или иной выбор в жизни осознанно. И в этом случае крайне важно, чтобы книга была предельно честной и откровенной. Особенно в самых важных вопросах, о которых обычно все недоговаривают! И не случайно, что такие книги редки. Я с детства читала много, как говорится, запоем, и книги самые разные, и мне есть, с чем сравнить. Ни разу я не встречала такого спокойного – человеческого – описания эротики. Это было всегда либо слишком «отвязно», либо предельно «иносказательно» – и то, и другое следствие страха, на мой взгляд. И несложно понять, что для разного рода страхов почва у людей имеется. Но оказалось – что если пройти свою школу жизни честно, и учиться в том числе тому, что незаслуженно считается «делом нехитрым», то можно не только пережить это все совершенно иначе, но и поделиться так, как до этого никто не делал. Пожалуй, самое основное – это ощущение простоты. Когда не охватывает го-

рячая волна стыда от непривычности или даже запретности описанного или от избытка деталей, о которых не принято писать, мол «и так все ясно». Но даже на примере судьбы одного человека, автора – мы видим, как все не ясно и не просто поначалу. И как важно быть внимательным и к себе, и к другим. И второе – самое важное для меня, как для читателя женского пола. Это не книга мужчины «для мужчин», и не книга мужчины «про женщин». Это книга человека для людей. Когда я читала, я во многих ситуациях героя узнавала себя и свои чувства, хотя не была ни писателем, ни художником, и не фотографировала девушек никогда. Но по сути – я шла путем свободы, пытаюсь отстоять в этом сложном мире право быть собой. И тем же путем шел герой этой исповеди, не сдаваясь и не поддаваясь, но и не впадая в «пафос борьбы» с социумом, что тоже не есть свобода от него. И тем важнее для меня было читать про успехи на этом пути, и в итоге ощутить вкус настоящей победы – значит, все возможно! Даже тогда, когда все вокруг против.

В общем, я искренне уверена, что прочитав и восприняв эту книгу по-настоящему, с уважением – многие могли бы многократно улучшить свои отношения с окружающим миром в самых разных его проявлениях. И возможно, даже обрести настоящую свободу».

*Ольга Валеева, Москва*

***Посвящается***

Памяти моего отца, с которым я делюсь...

Памяти моей матери, которую я помню лишь на фотографиях и во сне...

Памяти моей бабушки, которую я любил больше всех из близких...

И – особенно! – всем моим любимым, с которыми...



«Помню, как еще на заре эры Горбачева, взобравшись по выщербленным ступенькам в темном подъезде на третий этаж пятиэтажного дома, я оказался в тесной квартирке одного из лучших фотомастеров Москвы. Его фотографии насекомых и растений опубликованы в серьезных изданиях. Но я шел к нему смотреть совсем другие фотоработы. Моя спутница, член редколлегии популярнейшей московской газеты, взяла меня на просмотр эротических слайдов, которые этот человек умудрялся снимать втайне от нескольких тиранических режимов – от Хрущева до Андропова. Его коллекция состоит из тысяч слайдов, которые изображают женщин, позирующих обнаженными на фоне природного пейзажа. Из этих слайдов с помощью примитивного диапроектора и старенького магнитофона он создает потрясающие шоу... Уверяю Вас, это один из самых отважных людей с которым мне доводилось когда-нибудь встречаться. И он, и его модели – которые снимаются у него бесплатно – работали в условиях невероятного риска, ибо им угрожали самые суровые наказания, предусмотренные уголовным кодексом советского государства. Но ничто не могло победить его упрямого желания жертвовать свободой – а может быть и жизнью – ради эротического искусства. Возможно, этот человек Д.Г. Лоуренс своего поколения...»

Профессор Роберт Шиэр (ж. «Плейбой», март 1991г.)

## *«ПРИКОСНУВШИЕСЯ К КРАСОТЕ*

*Вышел в свет дивной красоты альбом фотохудожника Ю.Аракчеева – «флагмана советской эротики», как некогда писал «Пентхауз»... Российские леса и перелески, бабочки в свободном полете, морозный рисунок на стекле... За частоколом белых берез – белое, нежное, свободное женское тело – словно часть этой умопомрачительной красоты...»*

*Журнал «Новое книжное обозрение», июль 1995 г.*



# Пролог

«Мир создан для радости, не для печали» – восточная мудрость.

Но почему так мало радости в нашей жизни?

Казалось бы – делай что хочешь, зарабатывай, покупай что душа желает, езжай куда хочешь. Все – есть!

Но постоянно не хватает чего-то. Даже у самых богатых. И самолеты, и яхты, имения, замки, и еды «от пуза», вина хоть залейся, тусовки в шикарных одеждах, деньжищ немеряно... А толку? Очень редко, кто по-настоящему счастлив.

Беседовали мы как-то с приятелем. Ну, выпили немного. Поговорили о путешествиях, о фотографировании природы – у меня как раз вышла книга «В поисках Аполлона», о путешествиях в поисках редкой бабочки. А потом заговорили, естественно, об «амурных делах» – он расписывал очередные свои приключения, удачи и неудачи, – я припомнил свои... Тогда у меня еще не вышел альбом фотоживописи, где приблизительно одна треть – снимки обнаженных девушек, – но фотографий таких было уже очень много. «Как ты снимаешь их, как они соглашаются? Много платишь?» – заинтересованно спрашивал мой приятель. «Да ничего не плачу, платить-то не из чего, – сказал я. – Как с деньгами у меня, ты знаешь. Да они и не требуют. Отношение – вот же главное. И потом индийскую поговорку знаешь? Где начинаются

деньги – там начинается грязь».

Разговор был в 80-х годах прошлого века. «Свободного рынка», при котором продается все на свете, у нас в стране тогда еще не было. Приятель все равно не верил. «Не может быть, чтоб бесплатно! – воскликнул он. – Ради чего тогда?»

И я начал рассказывать. Слушал он слушал и вдруг сказал: «То, о чем ты сейчас говоришь, – самое интересное. Что ты пишешь о каких-то социальных проблемах или о бабочках? Ты об этом напиши – о женщинах! О своих отношениях с ними, об «этом самом», о фотографии и вообще! О красоте, о любви! Это же и есть самое интересное!»

Я задумался. Действительно: а почему бы и нет? Стал вспоминать... И вдруг, как никогда четко, понял: ведь именно эти проблемы – взаимоотношения между мужчинами и женщинами – одни из самых главных в жизни, а может быть самые главные! Любовь, конечно, но и... О чем говорят мужики – да и женщины! – в сокровенных исповедях своих? Об этом! С чем связаны самые приятные воспоминания? О чем мечтают те, кто разбогател? Кому преподносят мужики самые-самые дорогие подарки? В связи с чем ломаются или, наоборот, складываются судьбы?

Но по какой-то совершенно непонятной причине «это» – то есть близкие отношения, эротика – считается то «греховным», то «стыдным», то вообще чуть ли не «низменным» и «несерьезным»! Карьера – да, положение в обществе – да, деньги, богатство – да! Семья, дети, любовь – конечно... А

«это самое»? С чего начинается существование каждого из нас в этом мире? В результате чего появляется каждый из нас на свет Божий? Ведь если бы родители наши не встретились и не произошло бы между ними... этого самого... Нас с вами не было бы!

В СССР, как мы все знаем, вообще «секса не было»! Это ерунда, конечно, абсолютная неправда, но ведь эротика и действительно не приветствовалась. Как будто настоящая любовь может быть без эротики!

Прав, наверное, мой приятель – эта тема, может быть, действительно самая интересная!

Лично меня «эти вопросы» волновали чуть ли не с самого детства. Чем отличаются девочки от мальчиков? Что за таинственная какая-то магия действует на нас? Почему мы стесняемся, волнуемся, не решаемся, злимся, мечтаем, страдаем... И так радуемся, если с «этим» становится хорошо! Ведь самые приятные воспоминания связаны как раз с этим! Правда, и самые неприятные тоже...

Именно! Я вспомнил, что мои успехи и поражения на жизненном поприще всегда были очень тесно связаны с «этим» – как наверняка у многих. Хорошее настроение, уверенность в себе, оптимизм, жизненная активность разве не зависят от «этого»? Как с «этим», так и... Любовь – да, конечно, а «это»? От «этого» всегда ведь очень много зависело и зависит!

Тогда я и понял: если начну вспоминать и описывать свои

взаимоотношения с женским полом вообще, то это будет книга о моей жизни!

«Спасибо, друг, – сказал я тогда. – Попробую».

Об Аполлоне Златокудром, боге Света, Покровителе искусств в древнегреческой мифологии, я тогда уже написал – книга «В поисках Аполлона». Аполлон в этой книге не только бог, но и исчезающая редкая бабочка, ради фотографии которой я путешествовал. А теперь – о Ней, Вечно юной, Дивно прекрасной богине Красоты и Любви – Афродите!

И я – попробовал. Но, едва начал, тут же и понял: надо – с самого-самого начала. Все, как было, всю правду. Мне ведь есть о чем рассказать, прямо скажем...

Долго писал – вся моя жизнь передо мной прошла... И, знаете, счастливая жизнь! Несмотря ни на что! Наследственность у меня – хуже некуда: два моих младших брата умерли в раннем детстве. Мать умерла в 31 год от туберкулеза, когда мне едва исполнилось 6 лет. Отец погиб в автокатастрофе в 47 лет, но был уже инвалидом 2-й группы, а мне тогда было всего 11. Я остался круглым сиротой, болезненным, хилым.

А жизнь, тем не менее, – была у меня счастливая!

Но какую же огромную роль сыграло в этом «то самое»! Красота, любовь, уважение ко всему, благодарность... И – «это».

Пока писал, много событий произошло и удалось даже опубликовать солидный «альбом фотоживописи» под названием «Прикосновение» – то есть «прикосновение к Замыслу

Творца», так скажем. К тому времени о моих фотографиях «обнаженной натуры» уже писали и в знаменитом журнале «Плейбой» (смотрите эпиграф), и в русском издании «Пентхауза» – вот, кстати, цитата оттуда:

*«Маститый прозаик Юрий Аракчеев, член Союза писателей, автор десятков книг для детей и юношества, вышел, наконец из эротического подполья, где провел годы застоя. Благообразный советский писатель был на самом деле тайным «порнографом» (с точки зрения тогдашней юриспруденции, разумеется) и снимал десятки хорошеньких девушек на своем старом диване, придавая кадрам разнообразие с помощью наложений и прочих ухищрений. И сегодня мы смело можем назвать Юрия флагоманом советской эротики».*

*Журнал «Пентхауз», русское издание, №1, декабрь 1992 г.»*

Заметка эта меня тогда весьма удивила, хотя, честно сказать, и обрадовала.

Во-первых, я никогда не считал себя «благообразным советским писателем», ибо больше половины написанного мною в советские годы не увидело свет по причине цензурных запретов, а то, что увидело, было частично изуродовано.

Во-вторых, ни в каком «эротическом подполье» я не был, то есть не только не скрывал своих занятий «эротической фотографией», но – наоборот! – приглашал к себе гостей на просмотры слайдфильмов; мои фотографии, таким образом, видели сотни людей, а некоторые фотографии – очень

немногие – были даже опубликованы. Да, я писал рассказы, повести, даже роман, где были сцены, которые можно назвать «эротическими», без всяких колебаний давал их в редакции, считая, что ни о какой «порнографии» в них нет и речи. Увы, их неизменно, иногда и с раздражением возвращали. Так что если и был «порнографом» (с точки зрения тогдашней юриспруденции, разумеется), то вовсе не «тайным».

Но в-третьих... В-третьих, при всем при том, прочитав заметку в «Пентхаузе», я ощутил гордость. «Флагман советской эротики» – каково! Причем названный таковым не кем-нибудь, а – известным эротическим журналом! Это я-то, который очень долгое время считал себя – ровно наоборот – слишком робким, неразвитым с «эротической» точки зрения... Это я-то, который завидовал тем, у кого все «этакое» получалось легко и непринужденно... Это я-то, который в первый раз поцеловал девушку в том возрасте, когда многие сверстники мои имели уже солидный «послужной список» весомых *сексуальных* побед... А лишился целомудрия «флагман» и вовсе лишь тогда, когда другие многие стали уже отцами семейств (некоторые даже многодетных) – в двадцать три года от роду... Флагман! Это я-то, у которого никогда не было ни дорогой модной одежды, ни денег на кафе-рестораны (да-да, я ни разу в жизни так и не сводил пока девушку в ресторан!), не говоря уже об автомобиле, даче, приличном жилье! Зато – флагман!

Так что, подумав, взвесив, оценив, я как-то постепенно

пришел к мысли, что... может быть... Может быть, он и прав, этот издававший виды журнал? Конечно, автор заметки в «Пентхаузе» не мог знать, со сколькими женщинами я был интимно близок на тот момент, он знал лишь о действительно большом количестве моих снимков «обнаженной натуры». Но если откровенно, то...

Он прав! Было, действительно было! И много... Поняв в свое время, к великому счастью, что «этому» нужно учиться так же, как и всему другому в жизни, я действительно начал учиться. И... О, Афродита! Еще и еще раз спасибо Тебе! Именно Ты – как и Аполлон Златокудрый! – вдохновляла меня всю жизнь!

Повторю еще и еще: начав учиться, я понял: дело далеко не только в том, чтобы хорошо освоить «это». Я понял гораздо более важное: «это», вернее, отношение к «этому», определяет ВСЮ ЖИЗНЬ человека! И то несовершенство жизни, с которым мы сталкиваемся на каждом шагу, наши несчастья, горести или, наоборот, радости, напрямую связаны именно с «этим»! Хамство, стремление к власти над людьми, жадность, агрессия сплошь да рядом торжествуют именно тогда, когда с «этим» плохо...

И, пожалуй, эти «университеты» я считаю главнейшими в своей жизни.

А потому именно ей, Вечно Юной богине Красоты и Любви Афродите, посвящаю я эту книгу.

Книгу о моей жизни, о красоте и любви. О ПОИСКАХ

**РАДОСТИ!**

Хочу поделиться своим опытом со всеми. Вдруг это кому-то поможет?

# Часть 1. Прелюдия

## Начало

Напрягаюсь, пытаюсь вспомнить. Что-то обрывочное, что-то очень далекое. Как будто не со мной происходившее. Не с утробы, конечно, и не с соединения клеток. То и вовсе закрыто. Но с чего же тогда, с какого момента?

Жар, красная мгла перед глазами, какие-то простыни. Но это не рождение, нет. Это болезнь. Ложечка в рот, горькое лекарство, крик, конечно, сопли, слюни. Чьи-то склоняющиеся лица во мгле... Новогодняя елка, шоколад, которым весь перемазался... Манная каша во рту, которую неохота проглатывать. Болтаю ногами на маленьком высоком стульчике, запертый спереди тонкой дощечкой... А может быть, это и не со мной было? Может быть, подсмотрел за другими уже потом и решил теперь, что то был маленький я?

Все это – светлые блески из мрака. Потому что главное ощущение раннего детства – мрак.

Некоторые уверяют, что помнят себя очень рано, чуть ли не с самого рождения, выхода на свет Божий. Может быть. Известна медитация с волнообразным дыханием («ребфинг»), когда человек, якобы, возвращается в давнее прошлое и не только в этой жизни, а и в предыдущих. Может

быть. Я не пробовал. Я честно пытаюсь просто вспомнить.

Детский сад. Тряпичная корова – коричневая с белыми пятнами и с хвостом, – которую мне кто-то подарил. Поликлиника со странным названием «Медсантруд», где мама работала машинисткой. Завод «Платиноприбор», где отец – бухгалтер. Платформа «Тайнинская» – лето, все зеленое вокруг – листья, трава (рассказывала сестра: я, сидя у нее на руках, тянулся к веткам со словами: «илёни ли, илёни ли...», что означало, очевидно «зеленый лист»...). Песочница, пирожки из песка во дворе, ведро, лопатка (сохранилась маленькая выцветшая фотография). Сестры – Инна, Рита (они тогда были девчушками – четырнадцать лет и пятнадцати).

С восьмого класса школы – с пятнадцати лет – я вел дневник, описывая не столько события, сколько свои эмоции по каким-либо поводам. Интересно сейчас читать его. Много не помню, даже читая. Со мной ли это было? Я ли писал? Но если не я, то кто? Где тот, кто писал, сейчас? Ведь написанное – правда. Кто писал то, о чем я не помню?

# Девочка

Самое первое воспоминание, связанное с девочкой, пожалуй, вот это.

Летний солнечный день, после полудня. Жарко. Мне шесть лет, я гощу в деревне у тети Наташи, и в компании деревенских мы собираемся идти в поле за викой. Вика – это что-то наподобие гороха, только помельче. В компании у нас то ли две, то ли три девчушки постарше меня (лет восьми-девяти) и парень Шурка, тоже старше, ему лет восемь. Этакий лихой деревенский сорванец, взявший надо мной, столичным заморышем, покровительство.

Мы выходим из душной внутренности избы и ступаем на веранду, всю залитую желтоватым солнцем. Мои ноги босы, и я с удовольствием ощущаю теплую шероховатость дощатого пола веранды. Пахнет чисто вымытыми, сухими, нагретыми досками. Жарко. Шурка и две девочки уже вышли, мы с еще одной девочкой должны нагнать их, но девочка почему-то задерживается на веранде, близко-близко подходит ко мне и, глядя лукавыми смеющимися глазами прямо в мои глаза, спрашивает:

– Ты волков боишься?

– Нет, – героически вру я.

– А грома боишься?

– Нет, – повторяю я и в смущении отвожу глаза.

– А... этого... боишься?

С последними словами девочка прислоняется ко мне вплотную, одновременно одной рукой поднимая подол своего коротенького платьица, другой осторожно и ловко ныряет в раструб моих коротеньких штанишек быстро нащупывает там мой крошечный живой росточек и, чуть присев, слегка обняв меня своими коленками и не разжимая пальцев руки, пытается прикоснуться ко мне каким-то местом, которое у нее между ног. И вроде бы прикасается. Я ничего не понимаю, но волна таинственной радости, острого небывалого наслаждения пронизывает мое тело, у меня перехватывает дыхание, я чуть не падаю.

Но девочка уже отпустила меня, одернула платьице и, взяв меня за руку, выводит на крыльцо, смеясь, тянет за собой и вскоре мы догоняем Шурку и других девочек.

Мы собираем вику, едим мелкие зеленые сладковатые горошины, беря в рот весь стручок и продергивая между зубами так, что горошины остаются во рту. Потом грызем молодую морковку, вытаскивая ее из земли и кое-как вытирая о штаны – острый вкус земли, свежести... Пробуем даже сырую картошку, быстро выплевывая, правда, потому что во рту вяжет и песок хрустит на зубах. А я весь пропитан недавно пережитым, без конца посматриваю на фигурку девочки в коротеньком платьице – она вызывает у меня ощущение родства, счастья и почему-то непонятную, щемящую боль.

# Война

В то же лето, ознаменованное первым соприкосновением с девочкой, а именно – 6-го июля, как раз накануне моего шестого дня рождения – умерла мама от туберкулеза легких. Такой вот «подарок судьбы» ко дню рождения. Два родных младших брата умерли от разных болезней двумя и четырьмя годами раньше.

Отец похоронил маму где-то на кладбище под Звенигородом (вез гроб один, как рассказывал потом, на случайной подводе, и хоронил один...), вернулся ненадолго в Москву, чтобы передать меня на попечение бабушки и двоюродной сестры Риты, которая была всего на десять лет старше меня, – и направился с одним из эшелонов на запад, недалеко – немцы были, кажется, уже под Смоленском. Шел первый год войны...

Многих детей эвакуировали из Москвы на восток, меня сначала хотели отдать в детский дом, чтобы отправить туда же, но, как рассказывают, воспротивились тетя, бабушка и, особенно, сестра Рита:

– Пусть остается, вырастим как-нибудь, авось, не пропадем.

С трудом, напрягаясь, вспоминаю теперь желтый маленький абажур, квадратный, с крошечной электрической лампочкой (потом ее заменили на синюю), общий какой-то

мрак, грозный голос диктора Левитана по радио, надрывное завывание сирены, грохот бомбежки, постоянное, привычное чувство голода, тошнотворно сладкую мороженую картошку, слизистые котлеты из очисток, керосиновую лампу, когда погасло электричество, потом и вовсе коптилку – мрачные тени и жирная копоть на стенах, на потолке, – примус и керосинку на общей коммунальной кухне, железную печку-временку («буржуйку»), которую топили страницами очень красивых старинных английских и немецких книг, с треском вырывая их из прочных, негнущихся, подчас покрытых латунной чеканкой обложек. Буржуйка плотоядно фыркала, завывала и, наконец, сытно гудела, накормленная. Иногда так нагревалась, что на темно-бурых ее боках проступал сначала вишневый, а потом морковный румянец. Хорошо помню совершенно потрясающий томик в коробочке, в черном бархатном переплете со светло-желтым – из натуральной слоновой кости – крестом. На него руки не поднялись. Я отложил его в сторону, спрятал в какой-то ящик. И сейчас жив во мне детский мистический страх, немой и грозный укор, исходящий от этого бархата, от креста.

Да, конечно, на всю жизнь отпечаталось дьявольское завывание сирены – главным образом по вечерам, – опускаемые бабушкой или сестрой светозащитные шторы из черной бумаги на окнах (когда их потом поднимали, потягивая за веревочку, они сворачивались рулонами наверху). В бомбоубежище, в подвал нашего дома, бабушка, говорят, водила

меня только в первые дни, потом привыкли, все больше оставались в квартире. Бомбоубежища не помню. Сестра-комсомолка во время налетов дежурила с другими ребятами во дворе или на крыше – им выдавали большие железные щипцы, лопаты, они должны были хватать щипцами упавшие «зажигалки» – маленькие термитные бомбы – и запихивать их в бочки с песком. Захлебываясь от эмоций, рассказывала потом, как красиво и зловеще по небу метались лучи прожекторов, скрещивались, выхватывали из темноты крестики вражеских самолетов, из которых черными комочками сыпались бомбы... Ни одной «зажигалки» сестра не поймала.

Помню трескотню зениток, которую слышно было и в комнате, мощный грохот бомбовых разрывов, от которых наш старый дом вздрагивал и словно кряхтел – изо всех щелей поднималась пыль и пахло известкой. Однажды прямо с передовой, которая была уже в нескольких километрах от московских окраин, на пару часов к нам заглянул ухажер моей тети, Ритиной мамы – красивый, стройный то ли лейтенант, то ли капитан с красненькими, похожими на леденцы, ромбиками в петлицах. Он посадил меня к себе на колени и дал подержать настоящий револьвер – черный, увесистый, теплый... Грохотало за окнами, дом встряхнуло вдруг с такой силой, что посыпалась штукатурка – бомба упала совсем близко. Но окна, к счастью, остались целы.

Помню, как утром с захватывающим интересом, с острым ощущением таинственности и запрета мы, дворовые сорван-

цы, искали «осколки» – тяжелые, многозначительно и тускло поблескивающие куски металла с острыми, рваными краями, – словно присланные врагом коварные подарки, несущие смерть.

Самого святого для меня человека – женщину, давшую мне жизнь, – совсем не помню. Видел на фотографиях, но не представляю живой. Где она теперь? Много, много лет позже, когда было однажды особенно тяжело, видел такой вот сон: сижу у старинного зеркала в той самой комнате коммунальной квартиры, вокруг серо и пусто, но вдруг сзади подходит кто-то, кладет руку на плечо, я не оглядываюсь, но знаю, что это она. Благодарные, счастливые рыдания сотрясают тело. «Мамочка, мамочка, я так ждал тебя!» – говорю машинально и просыпаюсь. Это было всего один раз. Но часто во сне видел бабушку, а наяву был спокойно уверен, что *оттуда* она помогает мне.

Женское волновало меня, как я понял, всегда. Женское – это жизнь, не случайно в русском языке два этих слова близки по звучанию. Оба они несут для меня отблеск святости. В каждой женщине вижу материнское, причем именно для меня, как будто через каждую из них мама *оттуда* хочет мне что-то сказать...

– Кто сегодня печку растапливает? Вставай, вставай, хватит дрыхнуть. А за водой к Новиковым иди, вода опять замерзла. Чайник возьми и кастрюлю, – бодро говорит сестра. Иду за водой вниз, к соседям.

– Принес? Теперь возьми миску, снегу набери, бабушка будет свечку делать.

Бегу во двор. Снег жгучий, зернистый, запихиваю его в миску голыми руками. Пальцы красные, мокрые, скрюченные. Солнце – в глаза, холодный свежий воздух пьянит, голова чуть кружится.

Бабушка сама придумала, как делать свечку из растаявшего парафина: вставляет в снег бумажную трубочку, опускает в нее толстую нитку-фитиль – и заливает расплавленным на печи парафином. Одно время это был единственный источник света в долгие зимние вечера, когда кончился керосин.

Все время хотелось есть, сны были связаны с едой, мечты тоже. А самая большая, самая трепетная мечта – несколько полных, чтобы с них текло, ложек сгущенного молока из банки, чтобы во рту сладко-сладко и душисто, а потом запить крепким ароматным чаем. И лечь под теплое одеяло на чистые простыни, о которых тоже только мечтал.

Грязь вокруг была страшная, бороться с ней по-настоящему бесполезно – от коптилок, свечей, керосинок, от печки летела жирная копоть, из кранов текла ледяная вода да и то с перебоями, греть ее сложно, мыла нет. Клещи само собой – они не только ползали по стене порой среди бела дня, но и падали с потолка, неторопливые и вонючие. Одно время донимали вши – и головные, и платяные, помню, как гладили утюгом нижнее белье, и в швах короткими пулеметными вспышками выжаривались и вши, и гниды (яйца вшей) – и

горько пахло жареным.

Особенная, мучительно желанная ценность – конфетные крошки. Мы берегли их в жестяной коробке. Помню, как трудно было подавить пылкое стремление залезть в буфет, попробовать их, ну чуть-чуть, ну совсем капельку. На Новый год, наконец, решили пить с ними чай, но они, увы, превратились в бурую, липкую, неприятно пахнущую и почти не сладкую массу.

Вообще-то моя бабушка со стороны матери – немка, дед – англичанин, оба из обрусевших, живших в России издавна. Дед умер до моего рождения. Но до революции, по словам бабушки, у них была обеспеченная, даже аристократическая семья – работал на государственной службе один дед, однако жили в полном достатке. И было у них пять дочерей (в том числе и моя мать) да еще одна приемная девочка – шестая. Дали всем великолепное образование, держали прислугу, занимали целый верхний этаж двухэтажного дома, прислуга жила в примыкающем флигеле – снимали все это у домовладельца, известного в Москве миллионера Медынцева. Говорят, что первые автомобили в городе были у царя и у этого самого Медынцева, хозяина нашего дома. Этаж состоял из четырех залов, переходящих один в другой, с разнообразным паркетом, высокими потолками, шикарной лепниной. После революции все это разгородили, сделав обычную советскую пенал-коммуналку с узким длинным коридором, передней, кухней без окон, черным ходом и восемью комна-

тами, одна из которых досталась нам с матерью и отцом, одна бабушке с Ритой, – а всего в квартире жило сначала шесть семей, двадцать с лишним человек. Потом семей стало семь... Бабушка и в старости могла думать на трех языках, свободно общаться на пяти, помнила наизусть много стихотворений, которые учила в гимназии, и до конца жизни сохранила чувство юмора, остроту и ясность мысли.

Окружающая действительность с самого раннего детства казалась мне мрачной, враждебной. Возникало неосознанное, но явное ощущение, что она не принимает меня, пытается уничтожить бедного болезненного сиротку. Но не только меня. Люди, которых я знал, тоже страдали, мучались, умирали – словно какая-то дикая, жестокая сила действовала на всех. Близкие мои – да и знакомые – болели, один за другим умирали не только на войне, с едой и одеждой было плохо. В нашем доме не было ни центрального отопления, ни горячей воды, ни газа – да мы об этом сначала и не мечтали. Во время войны не было даже электричества. Топили печь, жгли коптилки, а в зимние морозы молились, чтобы не замерзала вода в трубах и можно было бы вскипятить чайник на керосинке или на примусе и сходить в уборную – которая, ко всему прочему, постоянно засаривалась, не только зимой, но и летом.

Из тех, кого я знал, хорошо никто не жил, у каждого что-нибудь... То на войне родные гибли, то бедность, то болезни, то в тюрьме кто-то из близких. И всех было жалко – я всем

сочувствовал. Да, сам я часто болел, да, есть хотелось почти всегда, да, умирали мои близкие один за другим, отец был на фронте. Временами посещали мысли и о моей сладкой желанной смерти. Я жаловался, конечно, бывало, что плакал, но в глубине души почему-то всегда казалось, что другим хуже, чем мне!

Теперь, с расстояния десятков лет, вспоминая себя как бы со стороны, вижу болезненного мальчишку, хлипкого, голодного, стеснительного, робкого – в чем душа держится?... – но... изо всех сил пытающегося понять и пожалеть всех.

Фантазия: солнечное весеннее утро. Я просыпаюсь в своей детской кроватке. Солнце кругом – и на потолке, и на обоях, на шкафу, на буфете, ослепительно светятся окна. Открыты форточки, и слышно, как поют птицы. Ощущение радости, счастья переполняет мое детское тело, я сладко потягиваюсь. Молодое, прекрасное, самое любимое лицо склоняется ко мне. Это мама. Она улыбается, солнце играет на ее каштановых волосах, на щеках, на губах, ее глаза искрятся нежностью, весельем, радостью. Она любит меня, я чувствую, что для нее нет ничего, никого дороже, чем я.

– Ты проснулся? Вставай скорей, будем пить чай, а потом пойдем гулять. Смотри, какая погода хорошая!

А потом приходит молодой, красивый, сильный отец. Он выхватывает меня из кровати, подбрасывает с веселым смехом, потом опускает на пол, и я бегу умываться...

Да, это только фантазия, приторно-сладкая мечта. Такого

солнечного весеннего, счастливого утра не было в моей жизни ни одного. Ни разу.

Думаю, что многие мои соотечественники и сверстники (думаю, что большинство) могут сказать о себе, увы, то же самое.

Вспоминаю детство, юность, оглядываюсь вокруг себя и вижу: насилие, непонимание, жестокость, убийства всегда бушевали да и теперь бушуют вокруг. И сплошь да рядом связаны они с тем, что должно сопровождаться, наоборот, любовью. Почему?

# Цветы

Да, мрачное, мрачное было время (военное... послевоенное...) – этакая бездна голода, болезней, смертей близких, темноты, грязи. Чем я только ни болел, говорят, – и коклюшем, и свинкой, и скарлатиной, и дифтеритом, и краснухой, и корью – ни одной детской болезни не миновал, кажется, да еще, как уже сказано, состоял на учете в туберкулезном диспансере. Не говоря уже о бесконечных простудах, аллергиях, головных болях. Но...

Странно, однако помню, что упорно жило во мне ощущение заколдованности, искусственности мрака, который всех нас окружает. И который в принципе можно преодолеть. Который преодолеть просто необходимо! Конечно, много раз я пытался вообразить, что умираю, и со жгучим удовольствием представлял, как и сестра, и бабушка, и тетя Лиля, и соседи мои, и приятели плачут около моего детского гроба, испытывая угрызения совести... Но все же этих соблазнительных представлений было недостаточно, чтобы заглушить непонятно почему теплящееся желание жить и... ощущение таинственной, могучей прелести мира, которую словно кто-то упорно скрывает от нас...

Ведь была при всем при том школа, где ухитрялся без особых трудов быть отличником, были приятели – в них никогда не было недостатка, и большинство из них непонятно за

что меня уважали, – были растения, «комнатные цветы», которые разводил с благословения и при поддержке бабушки во множестве горшков и консервных банок на широких подоконниках старого нашего дома. Однажды их скопилось около сорока.

...Маленькие, иногда совсем крошечные крупички семян я хоронил среди мягких, черных и влажных комочков земли в какой-нибудь консервной банке, а в лучшем случае в круглом горшочке из обожженной красноватой глины: проминал пальцем углубление, бросал туда зернышко, заравнивал сверху, – потом поливал из чашки водой из-под крана... И через какое-то время – о, чудо! – из комковатой земляной поверхности осторожно выглядывал сначала хрупкий белый изгиб стебелька, но вот он распрямлялся, раскрывал две толстенькие светло-зеленые округлые створки семядолей, и из таинственных складочек между ними уже выглядывали нежные, изумрудные, пока еще сморщенные, но быстро увеличивающиеся и распрямляющиеся первые листья. Рождалась новая жизнь... И вот в мрачной моей, убогой, серой комнате удивительным образом вспыхивал источник красоты и добра, огонек прекрасной и вечной жизни, вопреки всему... А что говорить, когда на свежем, юном, выросшем уже зеленом кустике – с главным толстым стеблем, ответвлениями, резными блестящими листьями – появлялись бутоны и, раскрываясь, одаривали нас с бабушкой и сестрой щедрой, роскошной, необъяснимо волнующей, порой даже и ароматной

прелестью цветка. Бальзамин! Откуда появился он? Почему? Как могло это хрупкое, нежное чудо родиться из обыкновенной земли и крошечного сухого зернышка?

Бальзамины, фуксия, герань, настурция, чайная роза, бархотки, петуния, ипомея – это все цветущие, но были и просто лиственные, вечнозеленые – аспарагус, аспидистра, традесканция, плющ... Музыка названий, бездна загадок и тайн. Некоторые размножались только черенками: по какому-то магическому закону из обломанного зеленого стебелька в воде вдруг появлялись тонкие, белые ростки корней...

А однажды мы с бабушкой воткнули в землю горшка несколько косточек финика. Долго и аккуратно я поливал землю – ничего не выросло. Прошло недели три, а может и больше, не помню сейчас, и я решил посадить что-нибудь в пустой горшок, но сначала все-таки разрыл землю, чтобы посмотреть. Сердце замерло, когда увидел: одна из косточек сильно разбухла, из нее появился белый росток... Разумеется, я бережно закопал ее, и – о, очередное чудо! Из влажной земли горшка на моем подоконнике вылез детеныш далекой, южной финиковой пальмы! Забегая вперед, скажу, что через год или два появились первые настоящие разрезные листья, а лет через двадцать огромное экзотическое растение, давно уже отданное моим родственникам со стороны отца по причине своих размеров, было ими передано в какой-то ресторан – финиковая пальма, выросшая из косточки, занимала полкомнаты...

А были еще аквариумы с гуппи, меченосцами, макроподами, птицы в клетках. Террариум с лягушками и ящерицами и, конечно, белые мыши. Тогда все это стоило очень дешево.

– Всю комнату провонял своими мышами! Сказано: пришел из школы – убери в клетках, вынеси ведро, подмети пол, помой руки. Говоришь, говоришь... Садись за уроки, наконец! Нет, сначала пыль вытри и печку растопи, потом сядешь. Да еще дров поколоть надо, Никольские нам две доски дали.

Грязь, талый снег. Упругие доски, от которых отскакивает топор. Щепки и комки снега в лицо.

Иногда удавалось достать настоящие дрова, главным образом, конечно, осину. Мы с сестрой пилили, я колот. Однажды принес охапку и упал с ней в дверях – голова закружилась. Голодный.

# Дом

До сих пор мне снятся сараи. Наш – из красного кирпича, с перекошенной деревянной дверью, толстым висячим замком – предпоследний в ряду других таких же, рядом с домом, на заднем дворе. Вообще действия снов, если они связаны не с какой-нибудь поездкой, а с постоянным жильем, происходят на старой квартире – там, на Верхне-Радищевской, неподалеку от знаменитого теперь на весь мир театра «На Таганке». В те времена на том месте было два заведения: театр Драмы и комедии, его называли почему-то «Театр Сафонова», и ресторан «Кама». Вижу сараи, вижу комнату, квартиру, двор, чердак, задний двор, улицу – все как было, – хотя теперь давно уже живу на другой квартире, в районе трех московских вокзалов.

Дом был небольшой, но мощный, с почти метровой толщины стенами, с «кумполом» и завитушкой наверху, которую прохожие старушки иногда принимали за крест и крестились. Парадная витая широкая лестница из желтого камня, с площадкой перед дверями второго, верхнего этажа, даже в мрачные, голодные военные и послевоенные годы, казалось, дышала уютом, теплом. Так приятно было ступать в жаркий летний день по шершавым каменным ступеням босыми ногами! Лестница шла вдоль стены, а с другой стороны ее ограничивала декоративная чугунная решетка, на ко-

торой покоились черные деревянные перила, тоже резные. Надежностью, основательностью веяло от нее, от лепных ба- рельефов на плоском потолке парадного.

Таинственным, завораживающим был чердак – одно вре- мя там сушили белье после стирки, – почему-то помню его теплым, уютным по-своему, с толстыми деревянными балка- ми, деревянным полом, покрытым мягким слоем песка. Ид- ти на чердак нужно через черный ход – жуткий, мрачный, с кирпичными стенами, узкой каменной лестницей и ржа- выми чугунными прутьями вместо перил, – там было все- гда темно и страшно, всегда под ногами почему-то попада- лись куски штукатурки и кирпича, в углах наверняка гнезди- лась нечистая сила, но зато наверху за мощной, обитой желе- зом дверью открывалось тоже сказочное, но доброе чердач- ное пространство, а потому главное проскочить черный ход, это опасное, враждебное чистилище... Из чердака же прямо на железную крышу можно попасть через окошко с деревян- ной решеткой, поднявшись к нему по аккуратной пристав- ленной лесенке. Крыша покатая, довольно крутая, но теплая, даже горячая летом, я там иногда загорал.

Двор тоже был когда-то совсем другим – уютным, ухо- женным, с несколькими большими деревьями, с солидны- ми, массивными воротами на улицу и решетчатой чугунной оградой. И ворота, и решетка тоже были произведениями ис- кусства, как и козырьки-навесы над каждым крыльцом. Ко- нечно, все это постепенно приходило в упадок. Конечно, наш

дом, который несомненно был одушевленным, живым существом, умирал постепенно, теряя мощь, утрачивая магическую свою живую силу, которая, как я думаю, помогала всем его обитателям выживать в убийственные, дикие годы, когда сначала мистическая, серая ненависть, словно паутина, сковала людей, заставляя их не быть самими собой, превращая в подозрительных, мелочных, лживых существ, а потом в первые годы войны уже и само небо стало враждебным, разорванным чужим самолетным гулом, расчерченным мятущимися лучами прожекторов, насыщенным металлом, дымом, огнем.

Однажды кто-то из ребят совершенно случайно, копая в уголке около одного из подъездов, обнаружил в земле разноцветные граненые камушки-стеклышки. Мы все ринулись туда со своими совками, лопатками. И действительно. В сыпучей бурой земле посверкивали настоящие драгоценные камушки – топазы, изумрудики, рубины – точно такие, какие бывают в кольцах, брошках, сережках. Откуда они там взялись? Я принес, помню, свою добычу домашним – бабушке, сестре, – но они с подозрением отнеслись к этим находкам, и, помнится, спрятали их с каким-то даже испугом. Что это было? Клад? И сейчас не знаю...

Как-то осенью играли в военную игру и нужно было «ловить врага», я поймал девочку из вражеской команды, схватил ее, мы упали на мягкую землю, я почувствовал, как бьется ее сердце и слабеет сопротивление... Что-то возникло

между нами, что-то мгновенное и тревожное – она перестала сопротивляться, я в растерянности и недоумении отпустил ее, поднялся и помог ей встать, чувствуя неожиданную нежность к «врагу» и непонятный стыд.

Однажды – когда мы были еще совсем детьми – хитрую игру придумали девочки со двора, когда пришли ко мне в гости. Их было три, а я один, зачем-то выстроили «домик» из стульев, письменного стола, покрывал, что-то это было наподобие «дочки-матери» или «больница», и зачем-то уже собирались снимать трусики, одна, кажется, уже даже сняла, но тут пришла сестра и разрушила наше гнездышко, что-то, кажется, заподозрила. Но это и вовсе в темных дебрях памяти, как из давнего, давнего сна.

Помню еще, с каким чувством разочарования узнал, что девочки носят такие же как и мы, мальчишки, фамилии – такие некрасивые, неблагозвучные иной раз. Школа-то у нас была «мужская», девочек я видел только во дворе или на улице, фамилии, как считал раньше, были только у нас, мальчишек, а девочки – это же совсем другие создания...

Было сексуальное стремление к родственникам? Было. К одной из сестер в детстве. Может быть, потому, что она как-то многозначительно посматривала на меня иногда (возможно, мне это только казалось, возможно, она и сама не осознавала этого). Думаю, что если бы спали все вместе, как это бывает в некоторых семьях, и если бы какие-то шаги с ее стороны последовали, то могло бы пойти и дальше.

Конечно, был интерес и к соседке по квартире, девочке Люсе, почти ровеснице – на год или два моложе. Однажды мы с приятелем, тоже соседом, зазвали ее ко мне в комнату и в темноте, по ее согласию, поочередно поводили своими крошечными неразвитыми отростками по ее трогательным складочкам между ног – было приятно, очень волнуящее, очень острое, жгучее ощущение – помню! – но что делать дальше, мы все трое понятия не имели. Люся ведь даже не раздвигала ножки, они были у нее крепко сжаты. Лет нам было что-нибудь восемь-девять.

И еще помню. Девочке со двора захотелось иметь какую-то мою вещь, и она предложила «за это один разик взять в рот».

– Хочешь? – лукаво спросила она, улыбаясь и глядя на меня как-то странно.

Я сначала не понял. Но она показала пальчиком на мои штаны.

Меня словно кипятком окатили, растерялся и покраснел, наверное, ужасно, но изо всех сил пытался сделать вид, что это мне нипочем и, чтобы оттянуть время, стал торговаться и выторговал не один, а то ли три, то ли целых пять раз. И, расстегнув мои штанишки, она сделала это, причем раза два даже сверх уговора. Я тотчас почувствовал нечто острое, стыдное, но жгуче приятное. Ошеломленный, отдал ей честно заработанную вещь (не помню, что именно) и спросил со взрослым видом, едва преодолевая отчаянное смущение:

– Ну и как тебе?

– Нормально, – ответила она. – Солененько.

Умер наш дом. Иногда я бываю в тех местах. Нет его. Хотя и не снесли, не разрушили до конца стены и перекрытия. Но это уже другое – старое, отремонтированное, «осовремененное» строение, с безликими конторами, «офисами». Ощущение такое, что живут там инопланетяне, пришельцы. Не с Голубой планеты. С Серой.

# Отец

...Война закончилась. Помню праздничные салюты. Помню радость, когда в нашем доме включили электричество. И вода почти не замерзала. И дрова и доски доставали теперь почти всегда – топили не времянку, а настоящую печку.

По случаю включения электричества, помню, мы с той самой девочкой, соседкой по квартире, Люсей, прыгали от радости в моей комнате, потом зачем-то скинули трусики и прыгали без трусов. Впервые в жизни тогда я увидел остро, явственно, при дневном свете – так, что запомнилось на всю жизнь! – те самые девичьи складочки между ногами. Аккуратненькие, пухленькие, странно волнующие.

Отец вернулся инвалидом второй группы, нервным, больным – раненным и контуженным – с отекающими ногами, колитом, гастритом, еще целым букетом болезней. Помню, как он сидел утром на краю постели и смотрел на свои ноги. Они были толстые, желтые, с редкими волосками. Он нажимал пальцем, оставалась ямка, которая долго не исчезала. Отец тяжело вздыхал и говорил, что это от недоедания... Говорят, что пытались найти для него женщину, которая стала бы моей мачехой. Но он никого не хотел. Или стеснялся.

Мы с ним прожили всего года полтора или два – однажды в начале мая, когда он шел с работы, его сбила машина. На смерть. Я тогда был в санатории, «лесной школе», через два

месяца мне исполнялось двенадцать лет.

Помню эту «лесную школу», весенний день, деревья еще голые – чуть-чуть зеленая дымка, – мы с ребятами играем в футбол на влажном поле. И приехала мать одного из моих приятелей, Юры Розмахова – она сидит на лавочке и смотрит, как мы играем, а потом зачем-то подзывает меня, а когда я подхожу, странно смотрит и говорит вдруг:

– Аккуратней с ботиночками. Папа твой заболел, когда еще новые купит.

То, что отец заболел, для меня было не удивительно, он болел почти всегда, но вот как сказала она, как смотрела... Я, разумеется, понять не мог, но тотчас же надвинулось что-то страшное, мрачное, остаток того дня я, как говорится, не находил себе места.

Ночью в палате проснулся и почувствовал, как из форточки в высоко расположенном и довольно далеко от моей кровати окне тянет жутким холодом. Почему-то я вдруг горько заплакал, слезы просто душили.

Теперь вспоминаю: точно такой же холод потянул тоже ночью и тоже из форточки много, много лет спустя, и я внезапно проснулся, чувствуя тревогу и удушье. А утром позвонил приятель и громким, срывающимся голосом сообщил:

– У Женьки был ночью пожар, он погиб, он сейчас в морге, если хочешь узнать подробности, звони по телефону матери, там сейчас его брат.

Женя был мой друг, тоже писатель, мы с ним очень сбли-

зились одно время, но беда в том, что он теперь много пил, не брезговал никакими женщинами, и, подозреваю, одна из них, о которой он мне рассказывал и которую я однажды видел, подожгла диван в его кухне, а сама ушла... Пьяный, он задохнулся от дыма во сне. И еще, как потом выяснилось, я, возможно, мог бы спасти его, если бы тогда, проснувшись среди ночи, позвонил бы ему и разбудил бы... Но где же знать, что это из-за него я чувствовал удушье и холод?...

Тогда же, в санатории, все давно уже было кончено: мать Юрия Розмахова была знакома с кем-то из моих родственников и знала, что случилось с отцом.

А на другой день приехала сестра и увезла меня на похороны.

То, что произошло, я воспринял уже как бы и само собой разумеющимся, это казалось естественным, бесконечная череда смертей стала для всех нас привычной, вопрос был только в том, кто будет следующим.

Отец прожил сорок семь лет, он был чисто русский, с Оки, из маленького старинного городка Озеры. Вообще я не очень хорошо помню его. Да ведь видел мало. Еще один эпизод, правда, вспоминается четко.

Утром он вставал рано, шел в магазин за хлебом, а перед этим варил манную кашу на завтрак – в маленькой алюминиевой кастрюльке для нас двоих (кастрюлька эта и сейчас цела), потом съедал свою половину и шел на работу, предварительно разбудив меня. Чтобы каша на остывала, он ста-

вил кастрюльку в глубокое темно-зеленое бабушкино кресло и накрывал одеялом. Однажды я проснулся сам и, решив, что он просто забыл меня разбудить, тотчас бросился к каше и съел ее всю, не заметив, что кастрюлька на этот раз была полная. Оказалось, что я встал слишком рано, отец, сварив кашу, еще не ел ее и пошел в магазин натошак. Он вернулся из магазина, и я с ужасом осознал, что съел и его долю. Я горел от стыда и, что называется, готов был провалиться сквозь землю. Заперся в туалете и не выходил до тех пор, пока отец не ушел на работу. Вечером он, однако, совсем не ругался, только странно смотрел на меня и шутил:

– У нас, наверное, моль завелась, всю кашу съела...

Умер он сразу – трещина в черепе, перелом позвоночника и ребер. Грузовик, за рулем которого сидел, как сказали потом, пьяный водитель, расплющил его о ворота родного завода. На похоронах гроб не открывали – говорят, было сильно повреждено лицо.

Я, разумеется, плакал, но, к теперешнему своему стыду, не слишком его жалел: не успел привыкнуть к нему, к тому же он частенько ссорился то с бабушкой, то с сестрой, был нервным, мнительным и, как мне казалось, жадным (последнее, думаю, было неправдой). И очень он был больным, слабым. Помнится, мы с сестрой как-то шли по улице – уже после похорон, – и я вдруг сказал ей:

– Может, и хорошо, что так случилось? Ведь он все равно мучился...

К тому времени у нас как бы и философия появилась: считать все происходящее единственно возможным и «к лучшему».

Много позже, став уже взрослым, я нашел его записную книжку – оказывается, он тоже вел маленький дневник. Записи относились к предвоенному времени и началу войны. Тогда-то я и узнал, что всего за два года он потерял мать, двух сыновей, моих младших братьев, а потом и жену, мою мать, которая, как я думаю, так и осталась единственной женщиной, подарившей ему близость.

Теперь понимаю: он просто не выдержал сокрушительных ударов действительности. А фронт – лишения, страхи, контузия, ранения – просто добил его, хотя и раньше он был наглухо закомплексован и раним. Не вписывался он и в «золотое» предвоенное время, не мог принять постоянную ложь, хамство, грубость «счастливой жизни строителей Светлого Будущего».

Да и на самом деле. Что видело то поколение? Разгул ГУЛАГа, война, послевоенная разруха, постоянный колпак КГБ, бесконечная, всепроникающая ложь, страх... Или все относительно, и тогда у них были свои немалые радости, которые нам, младшим, не кажутся таковыми? Думаю, все же были. Определенно были! У каждого, конечно, свои. Но вот от родственников я слышал, что и мой отец, и его родные братья, мои дяди – тоже умершие, – были поразительно скованы в своих мужских чувствах. Про одного из них расска-

зывали, что он чуть ли не до 30-ти лет не имел близости с женщиной, а когда одна разбитная бабенка пожалела его и сама предложила ему свое тело, так он, как она потом со смехом всем подряд рассказывала, «не мог попасть» и, чтобы «отыскать куда надо», старательно зажигал спички – это она ему посоветовала: «Ты спичку зажги, тогда и увидишь». Он и зажигал послушно... «Чуть все сено не спалил! – смеялась веселая соблазнительница. – Мы ведь на сеновале баловались».

Я слушал эти рассказы родственников, и во мне бушевали сложные чувства. Но главным из них было – недоумение...

# Первая любовь

Итак, встал вопрос перед родственниками: что делать со мной? Бабушка как представительница вражеской нации пенсии после войны, естественно, не получала. Сестра училась в институте, ее мать, моя тетя, разошлась с ее отцом, вышла за другого еще во время войны... У нее рос двухлетний сын, и оба они были на иждивении ее нового мужа. Отец сестры вернулся с войны без ноги и жил только на пенсию. Сестра никому не была нужна (кроме меня, разумеется), она и жила-то поэтому с бабушкой в той же коммуналке, где мы с отцом. Жили фактически на ее стипендию и на те гроши, что подрабатывали они с бабушкой вязанием рукавиц и носков из государственной шерсти. Никто из моих теток и дядьев, приехавших на похороны отца, тоже достатком не отличался. Так что же делать со мной?

Выход напрашивался: детский дом.

Тогда-то и выступила сестра.

– Только через мой труп! – решительно заявила боевая студентка. – Пусть остается. У него же комната пропадет, куда ж он потом? Перебьемся как-нибудь, не пропадем.

Тетки и дядья, рассказывают, только головами качали:

– Ты сама не понимаешь, Рита, на что идешь.

Но она настаивала. Даже опекунов не хотели оформлять на нее: никаких ведь нормальных средств к существованию

у нее нет. В райсобесе хотели назначить своего опекуна – комната все же, хотя и в коммуналке: вот он и будет жить со мной вместе, с жильем-то плохо в стране...

В конце концов все же оформили опекунство на бабушку и назначили пенсию мне – 149 рублей. Помню, что на первые же полученные деньги мы – по нашему с бабушкой настоянию – купили Рите на день рождения духи «Красная Москва». Они стоили ровно 100 рублей и были почти недосяжимой мечтой двадцатидвухлетней студентки.

А меня увезли опять в санаторий.

В те времена в стране хозяйничали банды преступников, одна из них наводила ужас на московских жителей, название ее было таинственным и пугающим: Голубой Ангел. О ней рассказывали леденящие душу истории, жуткие, однако и романтичные. В санатории воспитательница читала нам редкую старинную книгу о вампирах, которые прилетают ночью и пьют у спящих людей кровь из шеи, оставляя две крошечные ранки. По утрам мы тщательно рассматривали себя в зеркало, и на всю жизнь с тех пор осталась у меня привычка, засыпая, загораживать тыльной стороной руки горло.

Там, в санатории, и была у меня первая любовь. В том же году, в конце лета – двенадцать как раз исполнилось.

Соловьева Лора одиннадцати лет, черненькая, улыбчивая, очень живая, с ямочками на щеках. Что-то огромное, незнакомое поднималось во мне, отчего перехватывало дыхание, колотилось сердце и голова кружилась. Мощная сила, неза-

висимая от моей детской воли, тянула к этой веселой девчушке. Однажды ночью я встал, как лунатик, с кровати в палате мальчиков и совершенно бессознательно, абсолютно не помня того, узнав об этом лишь после по рассказу очевидцев и воспитательницы, направился в палату девочек; почти в полной темноте, по какому-то странному наитию, нашел кровать Лоры и пытался якобы лечь рядом с ней. Разумеется, очень напугав и ее, и девочек на соседних кроватях. Проснулся, до какой-то степени пришел в себя лишь тогда, когда воспитательница препровождала меня обратно. И настолько, видно, я выглядел не от мира сего, что никакого наказания, никаких санкций не последовало – взрослые да и Лора тоже поняли, очевидно, что моя сознательная воля тут не при чем. Интересно, что я ведь понятия не имел, где именно кровать Лоры, как же нашел ее в темноте? И Лора ничуть не обиделась...

– Слушай, что расскажу! – чуть позже дернул меня за руку мальчишка-приятель. – Счас заглядываю в окно к девчонкам, а там, знаешь, это, Лорка твоя сидит и что-то делает, вниз смотрит. Я повыше залез, а она знаешь чего... Сидит на кровати, ноги раздвинула и смотрит, что у нее там, руками трогает. Меня увидела, испугалась и бегом из спальни! По моему, у нее там уже волосы растут.

– Врешь...

– Во, побожусь! Сукой буду, не вру! Хочешь, я ее сейчас позову? Посмотрим...

Голова у меня шла кругом, сердце колотилось отчаянно. Я и поцеловать-то ее никогда бы не решился! Где уж там – посмотреть...

И все же однажды разрешил своему приятелю-оруженосцу ее позвать. Она прибежала с подружкой. И что же? Почти не глядя ей в глаза, я подарил ей самое дорогое, что у меня было – красивый латунный микроскоп, который назывался почему-то «тряхиноскоп» и который мне, в свою очередь, подарила бабушка на день рождения. И самое большее, на что набрался смелости – спросил у Лоры адрес и написал ей наш квартирный телефон. На том и расстались, а через несколько дней заканчивалась лагерная смена.

Потом, осенью, я послал ей какое-то детское письмо, но она не ответила. Потом даже пытался найти ее по адресу – и сейчас помню: Ведерников переулок, дом, кажется, 5, – ездил опять же с приятелем, но то ли не нашли, то ли я не решился войти в дом, не помню. Да и что бы я делал, если бы вошел?

Но и эти воспоминания как бы во мгле. Как бы почти и не относящиеся ко мне. Как будто о ком-то другом речь. Или во сне.

Очень хорошо помню только: все, что касалось девочек, становилось для меня все более таинственным, ужасно значительным и возвышенным. Обычной дружбы – как с ребятами – с ними быть не могло, с ними начиналось что-то особенное. Появлялась девочка – и вместе с ней надвигалось

неведомое, жутко привлекательное и пугающее. Перехватывало дыхание, что-то сжималось в горле, мгновенно я становился неуклюжим, манерным, следил за каждым своим движением, постоянно поправлял волосы, слегка поджимал губы – мне казалось, что они у меня слишком толстые... – перед глазами и в голове возникал легкий туман. В школе же перед ребятами я делал знающий, презрительный вид, о девочках говорил свысока, этак небрежно. Тот детский эпизод с «соленьким» казался далеким, абсолютно нереальным, словно это не со мной было. Как и давнее касание складочек в темноте.

Но вот острое, очень приятное, сладкое чувство, похожее на щекотку там, внизу, само собой иногда возникало, особенно ночью, под утро. Очень впечатляющими, волнующими были некоторые изменения в моем теле. Особенно в том самом месте... Как-то очень самостоятельно, независимо от моей воли изменялась форма, величина, появились светлые, золотящиеся волоски. Казалось, что тело мое живет своей собственной таинственной, неподвластной мне жизнью. Оно как будто бы принадлежало мне, то есть это, собственно, и был я, но в то же самое время очень, очень многое зависело вовсе не от меня... Как-то исподтишка я смотрел, трогал, порой испытывая неожиданно приятные ощущения и тотчас же вспоминая, что ведь это нехорошо, этого делать никак нельзя... Отец сказал однажды – давно еще, – что вести себя нужно так, будто кто-то постоянно наблюдает за тобой, все

твои поступки будут известны и соответствующим образом оценены. Я запомнил это на всю жизнь. Да ведь так оно, пожалуй, и есть. Но что же плохого, если немножко потрогать да еще и поводить кожицей туда-сюда... Ведь так сладко порой. А еще блаженство, если вдруг утром оказываешься лежащим на животе и изо всей силы прижимаешься к простыне. Можно и подушку подложить или скомканное одеяло... Но нет, нет, все же нельзя! Ну, если только чуть-чуть, совсем чуть-чуть, иногда, ну, немножко. Порой в воображении возникали удивительно приятные картинки – улыбки, нежные взгляды, случайные прикосновения девочек. Сны тоже были частенько связаны с девочками, но тоже как-то неопределенно и лишь изредка промелькивало вспышкой что-то запретное, может быть когда-то случайно увиденное – те самые... аккуратненькие... милые, пухленькие складочки... – но даже во сне смущение и чувство запрета срабатывало, гася стыдную, хотя и очень, очень волнующую картинку.

Да, природа не спрашивает нашего согласия, она, знай, делает свое дело. Классе в седьмом и вовсе мой мужской орган увеличился, принял «стандартную» величину и форму. Стал требовать все большего внимания к себе. Особенно ночами, под утро. Конечно, разговоры между ребятами, хвастовство, дурачества. Иногда все тело пронизывала мгновенная, фантастически приятная судорога. И вот однажды... Несколько мутно-белых капелек выступило вдруг из дырочки на конце... Значит, я взрослый! Переполненный гордостью, я по-

бежал сообщить о великом событии другу Славке, который жил на первом этаже нашего дома.

– Слушай, у меня есть! Появилось!

– Что? Что появилось?

– Ну, эта... От которой дети.

– Молофья, что ли? – грубо оборвал он.

– Ну.

– У одного тебя, что ли...

Конечно, я не злоупотреблял. Ведь это запрещено да и вредно очень, как говорят. Но иногда очень, очень хотелось, даже горло сжималось от нестерпимой жажды. Иногда разрядка происходила сама собой. Во сне или по утрам. Было приятно, блаженно, однако, увы, на белье или одежде оставались следы...

## Бабочки, фотография, книги...

Уж не знаю, как выкручивались бабушка и сестра. Кроме прочего, бабушка иногда занималась с учениками – давала уроки английского, французского, итальянского языков, делала переводы. Но учеников и заказов на переводы было немного, по-прежнему подрабатывала тем, что набивала табак в бумажные гильзы. И еще мы теперь периодически пускали жильцов в мою комнату – за мизерную плату «сдавали койку». До сих пор мне снится один и тот же сон в разных вариациях: я возвращаюсь домой из какой-то очередной поездки, а моя комната занята – там несколько жильцов, которые въехали без моего ведома, мне негде спать, не говоря уже о том, чтобы писать книги или хотя бы дневник. В крайнем расстройстве я просыпаюсь... Немного помогала нам мать сестры, моя родная тетя – тетя Лиля, которая, как сказали потом, очень любила меня почему-то, а я тогда этого не понимал. С разрешения своего мужа, доброго, но капризного и страшно занятого на какой-то важной работе человека – Владимира Ивановича, – она брала меня к себе на каникулы; однажды я все лето провел у нее на даче, в Никольском под Москвой, где произошло историческое событие: впервые в жизни я увидел живого Махаона – большую бабочку, солнечно-желтую, с черными полосами и пятнами, со «шпорами» и голубыми глазками на задних крыльях. Он, вернее,

она, большая бабочка, села на цветок и вдруг осторожно и медленно раскрыла великолепные, роскошные крылья. И замерла.

Словно из какого-то другого мира глянули на меня два синих пятнышка-глаза. Я тоже замер. Мгновенная связь возникла между нами. Доверчиво и беззащитно распахнутые нежные крылья. И голубые внимательные глаза. Что-то девичье почудилось в них... Тотчас захлопнулись крылья, и бабочка унеслась, навсегда оставив в моей памяти очаровательный облик. Любовь – с первого взгляда.

А еще сад. Таинственный, запретный сад по другую сторону дачи, куда разрешено было ходить только в сопровождении хозяйки дачи, Марии Ивановны. Яблоки, вишни, груши, сливы. Сколько раз потом снился мне этот сад, росистый, пронизанный утренним солнцем, с тяжелыми душистыми плодами среди листвы...

И еще часами я мог теперь сидеть на дачном участке или на какой-нибудь поляне в ближнем лесу, наблюдая за муравьями, шмелями, бабочками, подставляя солнечным лучам свою кожу, ощущая, как жизненная энергия перетекает в меня из травы, из деревьев, из воздуха.

Помню, как летним вечером Владимир Иванович обещал мне платить по гривеннику за каждого убитого комара. Комары донимали нас. Помню веранду, душистый свежесваренный чай, аромат клубничного варенья. Помню потрясающе красивую, нездешней какой-то расцветки ночную ба-

бочку: темно-шоколадные с белыми четкими прожилками бархатные верхние крылья и оранжевые с фантастическими синими пятнами нижние (потом я узнал, что это медведица-кайя). Ее нашел днем под карнизом мой четырехгодовалый двоюродный брат Володя, сын тети Лили, и показал бабушке, а уж она позвала меня. Помню мохнатую темную гусеницу, которую я увез с дачи в Москву, она окуклилась в банке, а потом из нее вывелась одна из красивейших дневных наших бабочек – Адмирал. Красно-бело-черная...

И, конечно же, началось у меня очередное увлечение («очередное сумасшествие», по определению бабушки) – интерес к природе, а особенно к бабочкам.

Приблизительно в то же время постепенно овладевало мной и еще одно сумасшествие – фотография. После отца осталось четыре старинных фотоаппарата, химикаты, увеличитель, бумага и пленки, и я осваивал таинственный, чудесный процесс: можно было, оказывается, остановить мгновение... Самым волнующим был, пожалуй, момент, когда при красном свете фонаря в ванночке под проявителем на чистом фоне бумаги вдруг торжественно и постепенно появлялось изображение...

Ну, и конечно, книги. Кто сказал, что искусство, литература существуют сами по себе и практически не влияют на жизнь человечества? Несусветная глупость. Для меня, например, книги всегда были прямыми учебниками жизни. Чем бы я был без них? В детстве – «Аленький цветочек»,

«Собирание бабочек», «Записки об уженьи рыбы», «Рассказы о разных охотах» Сергея Тимофеевича Аксакова, «Приключения Карика и Вали» Яна Ларри, «Конек-Горбунок», сказки Г.-Х. Андерсена, русские народные сказки (например «Гуси-лебеди»), Сетон-Томпсон («Крэг – Кутенейский баран», «Арно», «Краснозобая казарка»...), Фенимор Купер, Жюль Верн, Майн Рид, «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», «Дон Кихот», Рони-Старший «Борьба за огонь» (Нао, Нам и Гав...). И конечно, конечно, Джек Лондон.

## Бабушка и сестра

В детстве и юности из живших вокруг людей больше всех я любил, конечно же, бабушку. Почему-то казалось, что она, как никто, не только любит, но – понимает меня. Уважает то есть. Так, наверное, и было, судя, например, по письму, которое она написала мне в город Молотов (так тогда называлась Пермь) и которое у меня сохранилось. Оно написано как бы взрослому человеку, другу, можно сказать, хотя мне тогда едва исполнилось четырнадцать.

Судьба моей бабушки типична для того времени: она потеряла мужа, потом, поочередно, четверых своих дочерей (в том числе мою мать), случайно – благодаря моей сестре – избежала ссылки в Сибирь и, начав жизнь богатой, высококультурной аристократкой, кончила ее в полном духовном одиночестве и материальной нищете. Хотя и сохранила бодрость духа и трезвость мысли до конца дней. Типичная судьба русских аристократов в послереволюционной России, хотя бабушка и была обрусевшая немка.

Моя сестра тоже, конечно, человек неординарный. Свои недостатки у нее есть, разумеется, но энергия человеколюбия и голос совести в ней настолько сильны, что всю свою жизнь она только то и делала, что кого-нибудь спасала. Про меня я уж не говорю, мне она стала фактически матерью, но вот как она спасла бабушку от ссылки в Сибирь, рассказать

стоит.

Бабушку увезли на Лубянку в начале войны как представительницу вражеской нации. Узнав об этом по приходе из школы, сестра, недолго думая, ринулась туда же, сумела каким-то образом прорваться в приемную, где, как впоследствии с пафосом описывала, висел огромный, во всю стену, портрет Вождя Народов, Друга Всех Детей, во весь рост, и с комсомольским нахрапом принялась свою бабушку защищать – «как достойную воспитательницу комсомолки, у которой отец воюет на фронте», как «высококультурного, честного человека, ничем не провинившегося перед Советской властью»... Бесстрашие и задор шестнадцатилетней девчонки, видимо, были такой силы, что ее не только не взяли заодно с бабушкой – что для тех времен было бы вполне логичным, – но... отпустили. Вместе с бабушкой! Которую с тех пор оставили в покое, несмотря на то, что ее дочь с мужем и многих ее знакомых – не говоря уж о родственниках близких и дальних – методично высылали в Сибирь, большей частью в Карагандинскую область. Некоторые, разумеется, до мест ссылки не доехали – поумирали в вагонах.

# Охота

На Урал, в город Молотов, куда попала одна из дочерей бабушки (моя тетя), и меня отправили однажды на лето. Естественно, уже после войны. У тети был взрослый сын, Костя, мой двоюродный брат, лет на восемь старше меня. Там, в Молотове, я, конечно же, тотчас влюбился в пятнадцатилетнюю девочку, дочку соседки, но и попытки не сделал даже сказать ей об этом – только смотрел с замиранием сердца на ее темноглазое личико, на стройную тоненькую фигурку в синем простеньком платице, а потом о чем-то неразборчивом фантазировал... И... И, к счастью, тут же и заболел еще одним сладостным сумасшествием: брат Костя водил меня в лес на охоту.

О, Костя был страстным охотником, страсть его не признавала даже рамки закона. Охотничий сезон еще не был открыт, и Костя завертывал ружье в одеяло... Мы шли с ним бродить по окрестным лесам, по берегам реки Гайвы. Все вокруг было таинственным – ничего подобного я раньше не видел и не испытывал. Торжественно стояли леса, освещенные солнцем, внезапно перед нами распахивались глубокие лесные овраги, блистала на солнце широкая поверхность реки. Лес начинался сразу за поселком, в котором мы жили – на самой окраине Молотова. Сосны, ели, березы, липы, осины, кусты рябины, малины, черемухи – я открывал для себя

все это. Нагретый неподвижный воздух. Жарко. Тихо. Костя идет, держа наперевес ружье, я следом за ним, напряженно глядя вперед и сдерживая дыхание. Помню, как мы зашли в болотистый лес. Деревья стояли тихо, угрюмо, мы шли, чавкая сапогами среди голых стволов. Зелень и солнце – навверху, а здесь тихо, сумрачно. Серые и бурые стволы поднимаются прямо из воды. Кустов почти нет. Лишь кое-где тощая рябина или черемуха уныло выставила свои жидко-зеленые ветви. Жутковато... Помню походы вдоль берега Гайвы, охоту за утками... Помню, как Костя убил зайца – мы сначала осторожно выслеживали его в сумерках утра, и он проскакал рядом со мной, большой, серый – в сторону Кости. Потом грохнул выстрел, и было так жалко зайца, неподвижного, мертвого... Когда не попадалось ничего другого, Костя стрелял дроздов – подкрадывался к ним в густых кустах, а я стоял в стороне, затаив дыхание, ожидая выстрела. Помню густой и сытный сероводородный запах дымного пороха – в отличие от кислого и жидкого бездымного... Как-то среди леса мы с Костей набрали на большой овраг, весь поросший деревьями и кустарником. Там было очень много смородины. По краю его бежала тропинка. Костя велел мне стоять на месте, ждать, а сам пошел в заросли, держа наготове ружье. Я стоял и любовался красотой оврага. И опять по тропинке прямо на меня выскочил заяц. Остановился, посмотрел удивленно, не спеша развернулся и поскакал обратно. Этот остался живым.

Там же, в поселке у Кости, я впервые услышал по радио передачу «Голоса Америки» сквозь вой глушилок. Это, конечно, произвело на меня впечатление, но прошло еще немало лет прежде, чем я оказался в состоянии вынырнуть из навязного детского мира и оглядеться вокруг себя.

Осенью в тот год умерла тетя Лиля – рак легких. Рита тоже стала сиротой. Потом сошел с ума и вскоре умер родной брат моего отца, мой дядя Иван Алексеевич – он, его жена тетя Маргарита (почему-то было принято ее звать «тетей Гретей») и его дочь, моя двоюродная сестра Инна, жили с нами в одном дворе. А их сын, Дима, мой двоюродный брат, пропал без вести во время войны.

Засыпая, я теперь каждый раз молился за бабушку.

– Господи, помилуй и благослови бабушку, – шепотом повторял я три раза и только после этого позволял себе уснуть. Почему-то мне казалось, что бабушка не может умереть днем, при мне, а засыпая, я как бы оставлял ее на всю ночь без своей защиты – потому и молился, передавая на ночь заботу о ней Богу.

Но осенью следующего года в моей комнате ноябрьским утром на моих глазах она все-таки умерла.

Высшие силы последовательно и неотвратимо выполняли, очевидно, свой замысел: они оставляли меня одного. Правда, пока вместе с сестрой. Карабкайтесь, как можете. А мы посмотрим.

# Проблемы

О девочках я, конечно, мечтал все чаще.

Ни на Урале, у Кости (и сейчас помню милое личико и синее платье), ни на школьных вечерах (о, сколько симпатичных девчушек там было!), ни в своем дворе (особенно одна – круглолицая, смугленькая...), ни на улицах родного города пока не только не целовался ни с кем, но даже и не «дружил». Хотя ребят-приятелей было у меня более, чем достаточно.

А вот классе то ли в седьмом, то ли в восьмом школы очередным сумасшествием стала у меня химия. Мы с приятелем Славкой пытались получить бертоллегову соль, гремучую ртуть, нитроглицерин и еще множество разных интересных веществ – главным образом, конечно, взрывчатых. И получали ведь – вот что интересно! Кроме, правда, бертоллеговой соли, почему-то она никак не выпадала в осадок. Неугомонная энергия, полыхавшая во мне, заставляла иной раз смешивать растворы наугад, получалось черт знает что, однажды из колбы повалил густой буро-зеленый едкий дым, жидкость дьявольски забурлила, мы ожидали немедленного гигантского взрыва (а может быть, появится Джин?), меня, слава Богу, хватило на то, чтобы обернуть колбу тряпкой и вместе с ней опрометью выбежать во двор... Обошлось. А еще мы пытались однажды электролизом добыть металлический натрий: расплавили поваренную соль на газовой пли-

те в железной банке, я старательно опустил в нее электроды и... чуть не лишился глаз, потому что расплавленная соль брызнула в лицо – несколько маленьких шрамов надолго остались на веках, которые, к счастью, вовремя и четко сработали. А еще в восьмом, кажется, классе я тайком от завуча Елены Алексеевны, которая доверяла мне ключи от школьной лаборатории, украл из банки с керосином кусок металлического калия и положил в карман. Дело в том, что ключей от самой заветной маленькой комнатки, где стояли, в частности, банки со щелочными металлами, Елена Алексеевна мне не давала. В тот же раз пришла сама и показала нам со Славкой эту комнатку. Я и воспользовался за ее спиной... В кармане был носовой платок, на котором, очевидно, были влажные пятна, а калий, как известно, загорается от соприкосновения с водой... И вот мы со Славкой прощаемся с Еленой Алексеевной перед тем, как уйти, я стою перед ней и чувствую, что мою ногу словно кто-то обливает кипятком – из кармана сначала идет дым, а потом вырывается фонтанчик огня. И приходится мне позорно бежать в туалет, спасаясь от последствий безобразной кражи... Увы, катастрофически прожжены единственные брюки, а на ноге ожог второй степени... Целый месяц пришлось ходить в клинику на перевязки – шрам, кстати, виден на ноге до сих пор, – на брюки сестра старательно поставила большую заплатку, с которой и пришлось ходить даже на школьные танцевальные вечера, а самое неприятное все же – стыд перед Еленой Алексеевной.

У которой я теперь, разумеется, не решался попросить ключ. Так справедливо был наказан акт воровства.

А раньше еще, классе в четвертом, я принес домой на второй этаж очередную охапку дров, бросил ее возле печки и почувствовал тянущую, ноющую боль в низу живота. Потом прошло, но через некоторое время началось опять.

Весенний день, мы, мальчишки, бегаем, поддаем ногами консервную банку. Боль в низу живота справа становится такой сильной, что я ухожу домой. Трогаю там, где болит... Боже мой, в маленьком сморщенном мешочке, который называется очень смешно – мошонка, – я нащупываю что-то лишнее: выпирающий твердый бугор. Вокруг него все ноет, болит, я нажимаю посильней на бугор, и он уходит обратно в живот. Жутковато, однако становится чуть легче. Потом опять. Больно, неприятно. И не с кем поделиться – вот беда. Стыдно!

Никаких современных удобств в старом доме нет, вода только холодная, отопление печное, о душе, ванной мы и не мечтаем, а мыться ходим по субботам в баню. А там ведь раздеваются догола. И если у тебя что-то лишнее между ног – стыдно. Спасибо, если прежде, чем снять трусы, в раздевалке, я нажимаю на все растущий бугор, и он убирается во-свояси. Но во-первых, не всегда до конца. А во-вторых, постепенно потом вылезает... Приходится незаметно для окружающих повторять процедуру. Если сидишь, то лучше. Ну, ладно еще, если в бане чужие. А если знакомые? Противно.

Только через некоторое время я узнаю, что это и называется отвратительно: грыжа.

Перед уроками физкультуры в школе приходится проделывать то же самое: нажимать, загоняя обратно. Но со временем она возвращается все быстрее и быстрее... Нажимать тоже непросто: если как-то не так нажмешь, боль очень сильная.

В то короткое время, что мы жили вместе с отцом, однажды утром я проснулся и вижу: он сидит на краю постели совершенно голый, а между ног у него огромный, величиной с два кулака, шар – во всяком случае таким большим он мне тогда показался. Отец с печалью смотрит на него и осторожно поглаживает. Увидев, что я проснулся, он смутился и тотчас накрыл себя одеялом. Я в первый момент ничего не понял и только потом вспоминал все чаще. И теперь, когда эта штука стала расти у меня, я с ужасом думал о том, что может меня ожидать.

А что я буду делать, если в конце концов удастся мне остаться наедине с девочкой? Об этом стыдно и думать.

И еще, конечно, проблема с одеждой. Она преследовала меня в юности постоянно. Конечно, сестра старалась, чтобы я выглядел не хуже других, но с нашим достатком это было весьма и весьма непросто. Однажды сестра сшила мне вельветовую курточку – помню ее до сих пор, целый период юной жизни моей связан с вельветовой курточкой... Для человека обеспеченного одежда может не иметь большого значения,

но для бедного и гордого именно она порой становится первостепенной. Особенно в том возрасте, когда больше всего на свете тебя волнует то, как относятся к тебе сверстники противоположного пола.

## «Нимфа» Ставассера и «Купальщица» Коро

Кажется, была поздняя осень. Или зима. А может быть и ранняя весна. Помню грязь, слякоть. Стояли в очереди несколько часов или даже всю ночь, меняясь.

Выставка «Сокровища Дрезденской галереи, спасенные доблестными советскими воинами».

Грандиозное событие в нашей – а особенно в моей – жизни. Понравилось многое, хотя многого я не запомнил. Да и народу было битком, к некоторым полотнам не протолкнешься. Я взял с собой фотоаппарат и умудрился сфотографировать кое-что, разумеется, на чернобелую пленку. Больше всех понравились и запомнились: «Шоколадница» Лиотара, «Святая Инесса» Риберы, «Сикстинская мадонна» Рафаэля и «Спящая Венера» Джорджоне. Все это я прилежно сфотографировал, но с особым волнением печатал потом «Венеру». Хотя мне и не нравилось, что у нее довольно большой живот. Почти как и у «Данай» Рембрандта, которая мне именно потому и не понравилась вовсе.

Но из произведений искусства самое пылкое восхищение с детства вызывали у меня все же другие. Картина «Купальщица» Камиля Коро в Пушкинском музее и скульптура Ставассера «Сатир и нимфа» в Третьяковке – по-моему, она стояла в том же зале, где висело огромное монументальное по-

лотно А.Иванова «Явление Христа народу», которое мне тоже нравилось.

Узкие, хрупкие плечи Нимфы, небольшие аккуратные холмики груди, плавные линии рук, бедер, ног, нежная припухлость треугольничка внизу живота... Я готов был смотреть бесконечно. Слабость, томление, сладкие спазмы где-то в глубине горла, желание гладить и чуть ли не целовать белый теплый мрамор. Я готов был молиться на все это и постоянно вызывал в воображении волшебный, прекрасный образ. То же и «Купальщица». На берегу пруда, в темных зарослях. Белая, словно светящаяся. И опять эти сходящиеся плавные линии... И то, и другое я, конечно, сфотографировал и рассматривал потом фотокарточки с замиранием сердца. Никогда никакие откровенные изображения не волновали меня потом в такой степени. А если – то лишь такие, где возникала подобная магия линий. Скульптуры Родена или Кановы, картины Ренуара, Энгра, некоторые фотографии женщин в журналах...

«Откровенные» фотографии посмотреть тогда возможности не было. Только если мутные черно-белые «фотки» где-нибудь тайком у приятелей в мужском туалете. Да и то с острым ощущением чего-то грязного, запретного, даже преступного. Любовь, преклонение – где они? Вместо этого – вонь общественной уборной, милиция, решетка тюрьмы, унижение, хамство, мерзость... Почему?! Недоумение мое все росло. Но опыта, знания, увя, так и не прибавлялось.

Читаю свой дневник того времени и вижу: в пятнадцать лет в восьмом классе школы была у меня какая-то Тоня. «Была у меня» – это, конечно, сильно сказано, потому что ни поцелуев, ни даже встреч один на один не было. Только вздохи в дневнике и бесконечные сомнения – нравлюсь ей или не нравлюсь. Ходили как будто бы коллективно в кино, по улицам просто так шатались в компаниях, Тоня то «посмотрела на меня», то, увы, «не посмотрела». Была эта Тоня для меня, очевидно, зеркалом. Ведь так хотелось узнать, что же я из себя, с точки зрения их, девочек, представляю! Не помню Тонию ту сейчас. Абсолютно! Антонина вообще довольно редкое имя. Но вот что поразительно. Ведь самая первая женщина в моей жизни – когда этот великий акт, наконец, свершился! – оказалась... Тоней! Больше за всю свою жизнь я близко не общался ни с одной Антониной – и вот, значит, выходит так, что судьбой предназначено мне было познать первой женщиной именно Тонию. И коли не смог я воплотить этот замысел судьбы с той, забытой мною сейчас абсолютно первой Тоней, когда было мне 15, то и пришлось ждать голубчику еще ой-ой-ой сколько лет – до следующей Тони! И она, эта вторая Тоня (фамилия у нее была символическая – Волкова...), тоже была, как теперь понимаю, зеркалом, которое отразило-таки мой образ. Который мне, увы, не понравился... И сколько же еще пришлось пережить и промучиться прежде, чем удалось этот свой образ подкорректировать...

# Смерть бабушки

Бабушка умирала на моих глазах. Последние месяцы она сильно болела – бронхиальная астма в тяжелой форме и куча хворей других, – но держалась на ногах и делала, что могла, по хозяйству. А в те хмурые ноябрьские дни я заболел тоже, лежал с высокой температурой, ребята из школы пришли меня навестить, а бабушка вдруг сказала:

– Юра-то выздоровеет, а вот бабушка Юрина заболела по-настоящему.

Странно прозвучали эти слова, потому что она слегла только в этот день – 28 ноября. Да и то не совсем, потому что 29-го утром встала.

Я, простуженный, еще спал, разбудили меня бабушкины слова:

– Вставай, Юра!

И тут же она рассказала, как обгорела ручка у нашего чайника: выходит она на кухню, а ручка чайника, стоящего на газовой плите, так и пылает. Это было странно, потому что сколько раз мы оставляли чайник на кухне, порой забывали о нем так, что он почти совсем выкипал, но ручка никогда не горела. А накануне я поставил заварочный фаянсовый чайник на конфорку, как всегда, но он вдруг лопнул. Теперь же, после того, как ручка сгорела, сестра вдруг разбила чайницу, полную чая – она выскользнула у нее из рук, чай рассыпал-

ся...

Днем бабушка слегла – ей нездоровилось. К вечеру стало и вовсе плохо. Ни мне, ни сестре и в голову не могло прийти, что это что-то особо серьезное, бабушка и раньше ложилась, у нее были сильные приступы астмы. Но тут вдруг вечером один за другим стали приходить соседи. Из квартиры и со двора – бабушку уважали и знали довольно многие. Бабушка мужественно говорила, что ей лучше и что она завтра обязательно встанет. Но голос ее был какой-то странный, надтреснутый, к тому же и дикция невнятная – язык ворочался с трудом. И взгляд вечером был совсем незнакомый, чужое выражение глаз. Мы с бабушкой спали последнее время в одной комнате – моей, – наши кровати были напротив. В эту ночь я спал совсем без снов, хотя обычно мне всегда что-нибудь снится.

Когда проснулся, услышал, что бабушка дышит с трудом и в груди у нее что-то клокочет, но это мы слышали и раньше – астма. Сестра пришла будить бабушку, но та не просыпалась. Опять стали приходить соседи и плакали. Вызвали врача – женщину с редкой фамилией – Прорвич, она была любимым врачом бабушки, и та не раз говорила, что когда будет умирать, пусть рядом с ней будет Прорвич. Осмотрев и послушав бабушку, Прорвич сказала:

– Все главные центры поражены...

Инсульт. Мы стояли около той, которая была для меня дороже всех на свете и вдруг услышали, что дыхание начало

прерываться. Я еще не оправился от болезни, и у меня кружилась голова. Чтобы не упасть, сел на кровать. Дыхание бабушки остановилось. Прорвич поднесла зеркало к ее губам, а потом пощупала пульс.

– Все, – сказала она.

Как-то машинально я посмотрел на часы. 11 часов 20 минут утра, 30-го ноября.

Мы с сестрой Ритой остались вдвоем.

# Тетеревиный ток и рыбная ловля

Билеты на электрички были тогда очень дешевые. Хлеб, сахар, масло и колбаса тоже. Вполне доступными для самых бедных были: нейлоновая леска «сатурн», рыболовные крючки, насадка для зимней подледной ловли – рубиновые червячки, мотыль. И даже валенки и резиновые сапоги. Обычно мы ездили с другом Славкой и одноклассниками – Левкой Чистоклецевым, Витькой Яковлевым, – иногда удавалось сагитировать и других. Еще в охотничьем магазине мы познакомились с Вадиком Парфеновым, который стал моим спутником на охоте. А в электричке однажды, когда ездили со Славкой на рыбную ловлю, – с пожилым рыбаком Андреем Гаврилычем, который потом брал меня с собой на рыбалку в новые для меня места. С этими поездками, кстати, связаны самые первые мои рассказы. А был еще и Владимир Иванович Жуков – тоже знакомство в охотничьем магазине и тоже поездки и вовсе в места просто замечательные. Самая первая из них – на тетеревиный ток в окрестности подмосковного городка Рогачево. Там я был просто ошеломлен широким весенним половодьем реки Яхромы, полетами и кряканьем настоящих диких уток, ночевкой в лесу у костра и хором токующих тетеревов ранним утром. Ничего более прекрасного и чарующего я за свою предыдущую жизнь не видел, не слышал, не чувствовал. В сером сумра-

ке раннего апрельского утра слышались бурлящие, но в то же время и звонкие звуки, нежные, завораживающие. Что-то древнее, первобытное было в них, периодически они прерывались задорным шипением – «чуфыканьем». Я был совершенно очарован ими, готов был слушать без конца, а небо-свод тем временем светлел, розовел – впереди ожидался бес-конечный счастливый, солнечный день. Таким он и стал для меня, хотя я так и не подстрелил ни одного тетерева из своей старенькой берданки с допотопным затвором, которую не помню уж где достал...

Вот это Рогачево с окрестными деревнями Усть-Пристань, Медвежья-Пустынь, а еще – по Савеловской железной дороге – станции Трудовая, Икша и по Ленинградской – Истринское водохранилище, озеро Сенеж, а также – уже по Ярославской дороге – Пестовское, Пяловское водохранилища (станции «Заветы Ильича», «Водники»), далекое Московское море (Завидово, Дубна), озеро Неро рядом со старинным городом Ростовом-Великим, Рыбинское море – станция Кобостово, деревни Малое-Семино, Легково, – а также реки Сестра, Яхрома, Медведица, Серебрянка, Истра, Москва-река... Вот что спасло и воспитало человека, пишущего эти строки. И еще, повторяю, доступные даже для самых бедных билеты на электрички, автобусы и метро и на все самое необходимое для жизни.

...Помню, помню пряное это, бодрое ощущение простора, света, пьянящей свежести воздуха апрельского весеннего

дня – рыбная ловля из лунки по последнему льду. Воздух – как спирт! И я ни от кого не завишу. Бог с ними, с девочками, это потом. А сейчас в отцовской военной шинели поверх старенького бабушкиного пальто и рваного свитера – тоже отцовского, – в резиновых сапогах с портянками из тряпья, с фанерным чемоданчиком в одной руке и с пешней в другой, в шапке-ушанке с опущенными ушами я иду по ровному белому просторному полю водохранилища, надо мной – бездонное сероватое небо раннего утра, но вот уже встает, поднимается солнце, небо светлеет, потом розовеет и голубеет, а вот уже и теплые ослепительные лучи греют мои замерзшие щеки и окоченевший сопливый нос, и тело наливается бодростью, растворяются, исчезают остатки сонной истомы, начинаю дышать полной грудью, забываю все на свете, кроме того, что где-то там, в таинственной глубине под толстым слоем снега и льда, по которому я шагаю со скрипом и шорохом, растут изумрудные водоросли и плавают желанные полосатые окуни, и вот сейчас, вот тут, может быть, или чуть-чуть в стороне... Да-да, вон там, недалеко от голой ветлы, которая склонилась над ровной белой поверхностью, прорублю лунку пешней и вычерпаю шумовкой осколки, и достану маленькую заветную удочку с любимой, самостоятельно сделанной из олова и латуни мормышкой, насажу на крючок рубиновых червячков мотыля, и...

О, этот божественный миг поклевки – весть, летящая из темной, загадочной скважины лунки с зеленоватым, про-

зрачным, с неровными краями глазком воды (о, что же это напоминает теперь, на что намекает, с чем сравнимо?... ) – и кивнувшая внезапно серая пружинка на кончике коротенькой удочки... мой мгновенный рывок – подсечка! – блаженно натянувшаяся струнка белой, почти прозрачной лески-сатурна, и ощущение живого, упругого сопротивления, идущего оттуда, из глубины, сладкое волнение в груди и лихорадочное вытягивание лески с затаенным дыханием и отчаянным биением сердца... Что там? Какая рыба? Окунь? Плотва? А вдруг лещ?!... Ничто в этот момент не отвлечет взгляда от темной скважины, где начинает волноваться, ходить вверх-вниз зеленовато-прозрачный кружок воды – и вот... Серая, с распахнутыми жабрами, с желтыми круглыми вытаращенными глазами голова и раскоряченные нежно-розовые и ярко-красные лепестки плавников, и полосатое, сильное, живое, зеленовато-серое тело... Окунь!

Рождение – из таинственной живой глубины.

«Глубина в моей лунке была метра три, считая от поверхности льда, толщина которого была около метра, – писал я в своем дневнике, сочиняя «отчет» об очередной поездке и переживая вновь счастливые минуты той своей жизни. – На льду – много воды, а поверх воды футовый слой снега». Именно «футовый», а не «сантиметров тридцать», потому что уже тогда – и на всю жизнь – Джек Лондон был одним из самых любимых моих писателей – и друзей! – если не самым любимым, истинным, можно сказать, «братом по кро-

ви», хотя жил он в другой стране и в другое время.

«Еще интересный момент, – продолжал я, уже пытаюсь осмыслить происходившее, подходя к любимому своему занятию как исследователь. – Окунь очень отличались друг от друга по цвету. Одни почти совсем зеленые, другие желтые, третьи серебристые. Это, вероятно, объясняется местом обитания. Зеленые окуни – жители дна, заросшего травой. Желтые – глинистого или песчаного дна. Серебристые – или светлосреднего дна, или держатся ближе к поверхности...»

# Дневник

Начав писать эту книгу и обратившись к своему дневнику – достав с антресолей несколько связок толстых тетрадей, общая толщина которых составила, представьте себе (я мерил!), больше метра – я испытал странные, незнакомые раньше чувства. Я или не я? Было или не было? Во сне или наяву? Да, конечно. Вот документальное подтверждение. Но почему же многое я совсем не помню? А раз не помню, значит, оно как бы и не относится ко мне, так ведь? Тут же и задумаешься о реинкарнации, переселении душ: если я из этой, сегодняшней, так сказать, земной жизни многое не помню, то что же говорить о жизнях прошлых? И не доказывают ли в какой-то степени «от противного» эти мои провалы памяти по-крайней мере *возможность моих прежних жизней*? Лично я думаю, что доказывают. Тем более, что и теперь, и раньше случаются и случались события и совпадения удивительные, весьма прозрачно намекающие на то, что прав был старина-Шекспир, когда писал: «Есть в этом мире, друг Горацио, множество такого, что недоступно нашим мудрецам».

А вообще-то дневник меня спас. Ведь поделиться по-настоящему, поговорить по душам было не с кем. Сестра все же не очень понимала меня. А тетрадь – вроде как собеседник. Напишешь, отведешь душу – и легче, словно с кем-то близким поделился. Говорил же отец, что кто-то словно бы

наблюдает за нами. Вот я и отчитывался.

# Она

Сны – особенно после рыбной ловли на свежем воздухе – были порой прекрасны. Вот один.

Белое, светящееся девичье тело. Кто это? «Нимфа» Ставассера, ожившая, теплая? «Купальщица»? Или... может быть... мама? Лица не разглядеть, оно светится ослепительно. Задыхаясь от величайшего поклонения, медленно, осторожно протягиваю руку. И вдруг касаюсь... груди... нежной, округлой, божественной. Слово из светящегося теплого белейшего пуха. В горле ком, перехватывает дыхание, сердце просто выпрыгивает...

И я просыпаюсь в слезах восторга, испытывая, конечно же, острую, сладчайшую, мгновенную, как вспышка, разрядку.

Блаженное тепло разливается по всему телу, я словно в ладони Бога. В памяти (надолго!) сияющее женское лицо и – две округлых, божественно белых (с нежно розовыми кружками сосков) груди, к одной из которых я прикоснулся. Не в жизни, увы, не в реальности... Почему же все это еще так далеко от меня? Будет ли когда-нибудь? Далекое, сияющее, недоступное... А ведь мне уже... Мне пятнадцать.

Почему Бог предостерегал Адама от плодов с дерева познания добра и зла? – думаю теперь с печалью. Потому что жалел Адама. Он, Бог, знал, что желающему знать будет труд-

но: у людей слишком плохо с любовью.

Я понял: мир задыхается без любви. Горечь – от того, что не хватает любви. Скука, преступления – от того только, что нет любви. И даже войны. И революции. Мир природы скреплен любовью, рожден любовью, но не нашей, человеческой, увы. Природной, изначальной, Божеской. Любовь – та энергия, которая питает жизнь, не дает ей погибнуть от ненависти незнания. Бог (Природа) безусловно любит нас всех, все живое, иначе не было бы на земле таких дивных растений, такого потрясающего разнообразия живых существ. Мы же не умеем любить, не хотим учиться. И мы – боимся. Страх и лень – вот что губит, это я понимаю все явственнее. Мы боимся любви, потому что она – ответственность. Соединять секс с любовью – ответственно! Не выплескивать великую энергию просто так, от бессилия, а – искать, неустанно искать предмет любви, родственное тело и душу, и – находить, пусть даже порой ошибаясь – вот достойная человека миссия. А мы сплошь да рядом уходим. Мы боимся жизни, боимся любви, потому что для того, чтобы жить и любить достойно, надо быть мужественными, необходимо учиться. А мы ленивы. Мы неблагодарные, тупые, ленивые и трусливые дети. Мы упорно заставляем себя ненавидеть то, что на самом деле пылко и тайно любим. Потому что главное наше чувство – страх.

Из дневника:

*«28 октября, воскресенье.»*

*Вчера было комсомольское собрание совместно с 9 кл. женской школы. Я был председателем президиума. Вел себя вполне смело за председательским столом. Надо сказать, что я за последнее время совершенно переменялся в отношении к девочкам. Почти не стесняюсь их, веду себя вполне нормально. Надо сказать, что в этом я многим обязан соседу Валерке, благодаря которому произошла эта перемена.*

*Когда я был председателем президиума и вел собрание, я посмотрел всех девочек и теперь имею некоторое представление об их классе. Человека 3-4 мне понравились, и за кем-нибудь я постараюсь стрелкнуть на вечере 1-го ноября. С одной мы уже познакомились (Левка, Витька и я), и она нам нравится. Звать ее – Алла, фамилия – Румянцева. Говорят, она первая красавица «женской» школы...».*

Да, помню, помню то радостное ощущение праздника, удачи, веселое волнение и... огромные, очень живые, смеющиеся, магические глаза девочки, сидящей на первой парте, прямо передо мной, ее четкие темные брови, розовые нежные губы, светлые золотистые волосы с тонкими завитками около лба и вокруг белых, аккуратно выточенных, ну просто ювелирных раковин ушей.

Самое удивительное, что она обратила на меня внимание! Она так понравилась мне, что трудно было поверить, будто я – беспомощный в «женском вопросе», неопытный, довольно плохо, с моей, болезненно ранимой точки зрения одетый, могу ее заинтересовать. Что ей до моей хорошей успеваемо-

сти по школьным предметам и до того, что я член комитета комсомола школы и веду, вот, собрание! А вот ведь... Даже в своем дневнике стеснялся написать, как на самом деле она мне понравилась...

Вскоре после этого «совместного комсомольского собрания» состоялся «совместный праздничный вечер», посвященный, естественно, годовщине Великой Октябрьской.

Танцы, игры. «Почта». Пригласить Аллу на танец я не решаюсь, но письмо-записку, конечно, пишу. У меня номер 56, у нее – 24 (и сейчас помню). В записке моей что-то наподобие: «Когда можно с Вами поговорить?» Вижу, как девочка-почтальон передает ей записку. Ответа нет. Стою у какой-то колонны, делаю веселый вид, смеюсь и болтаю о чем-то с приятелями. Ребят-то приятелей у меня, как уже говорил, много... Вечер короткий – была «торжественная часть», самодеятельность, а на игры и танцы отпущено совсем чуть-чуть, около часа. Ответа нет, увы, почтальон проходит мимо, не замечая моего 56-го номера, приколотого на грудь. Увы.

И вдруг в самом конце вечера почтальон – симпатичная девочка с сумкой и в шапочке – улыбается мне и протягивает записку: «От 24-го 56-му. Позвони мне по телефону с 3-х до 6-ти часов К-7-23-79. Алла.» (И это помню, даже номер телефона...).

Я в полном смысле слова, кажется, был недалек от того, чтобы взлететь: грудь словно наполнилась водородом, и я – будто воздушный шарик – не чую ног под собой, когда иду

в раздевалку. Даже не подхожу к Алле, чтобы какой-нибудь своей глупостью не нарушить величайшего счастья момента. Мы, кажется, только улыбаемся друг другу на расстоянии. Неужели такое возможно?...

Прошло несколько сумасшедших, совершенно сумбурных дней – во мне происходили неведомые процессы, – пролетел праздник 7-го ноября, который мы справляли в компании, где была Алла: годовщина Великой Октябрьской была нам, разумеется, пофигу, но – предлог! За Аллой неотступно увивался мой одноклассник Эдик – невысокий, наглый, навязчивый паренек, всерьез соперничать с ним казалось мне ниже моего достоинства: я отличник, староста класса, авторитетный парень среди ребят, и Алла, по слухам, весьма симпатизирует мне – что же она не отшивает его немедленно?! – но... Может быть по глупости, а может быть нарочно, чтобы вызвать ревность во мне, Алла не делала шагов мне навстречу и почему-то никак не давала решительный отлуп Эдику... В результате все получилось неинтересно, тускло, бездарно – я прямо-таки коченел от ревности, от любви к ней, но изо всех сил старался этого не показывать. В компании все разладилось, стало неуютно, скучно...

Пролетели предновогодние дни – Алла, наконец-то, Эдика «бортанула». Что реабилитировало ее отчасти в моих глазах... И вот: Новогодний праздник! Мы собрались на квартире у Аллы, где они живут с мамой и бабушкой.

Компания у нас небольшая, человек шесть или восемь, в

углу комнаты – новогодняя елка, с потолка свисают кусочки ваты на ниточках – «снег». Мы пьем вкусное, не слишком крепкое вино, танцуем – наконец-то я танцую с Аллой, и это так приятно, что трудно и передать, хотя танцуем мы на расстоянии, не прикасаясь, совершенно «по-пионерски». Но после полуночи, уже в Новом году, мы с Аллой вдруг оказываемся в маленькой комнатке, где стоит большая кровать, на которой сейчас спит Алкина подруга, Зоя. Мы сидим с Аллой на этой кровати. В комнатке темно, только чуть-чуть пробивается свет из дверной щели.

Настал, кажется, наш звездный миг, еще ни разу мы с ней не были вот так вдвоем, да еще так близко, да еще на Новый год и в легком хмелю, да в комнатке, скрытой от посторонних глаз (Зоя не в счет, потому что она явно спит), да еще почти в полном спасительном мраке. Я только вижу смутно ее прекрасное, напряженное и задумчивое лицо сбоку и блеск глаз и ощущаю тонкий аромат духов, волос, ощущаю ее тепло... Но...

Да, вот ведь какое дело. Я сижу словно парализованный, молчаливый и неменяемый истукан. Тело мое бесчувственно и неподвижно. Анестезия.

О, Боже, если бы хоть немного, хоть чуть-чуть внушить мне тогда то, что знаю сейчас! Ну пусть даже не знания, пусть хотя бы умения расслабляться, отключаться, быть свободным, естественным, не прислушиваться постоянно к себе, не анализировать, как компьютер, а просто – чувствовать. И

смелым быть хоть чуть-чуть. Да нет, ну, хотя бы легкомысленным, пусть даже глупым – и то бы сгодилось!

И тогда... О, вот я бережно, нежно обнимаю ее, прикасаюсь щекой к ее горячей щечке и к завиткам золотистых волос на виске над очаровательным белым ушком и ощущаю все ее милое, родное уже, близкое мне естество. Говорю какие-то глупости и целую ее в полуоткрытые навстречу мне горячие губы, и она тотчас вся приникает ко мне, ее губы влажны, они сливаются с моими – Господи, ведь это такое счастье... Теперь – увы, только теперь! – я понимаю, что это было вполне возможно, даже в те годы, когда – как принято считать, – в СССР секса не было... Наш общий рай был рядом, один лишь шаг, кажется, до него... Ну, пусть даже она смеялась бы при этом, а вовсе не стонала и не дышала взволнованно – пусть! Запомнила бы ведь, оценила бы все равно! Ведь мои руки, все мое тело, все естество – и душа, разумеется, тоже, душа, если уж на то пошло, в первую очередь! – все стремилось к ней... А ее, уверен, – ко мне, ясно же, иначе она бы не... И вот я уже кладу руку на ее тугую и нежную грудь, потом отстраняюсь на минуту, расстегиваю пуговицы на ее блузке...

Но стоп. Ведь это в воображении. Теперь! А тогда...

Ну, ладно, ну, пусть не совсем даже так. Пусть я слишком расфантазировался. Пусть менее современно и более сдержанно – в духе того времени. Целомудренно, романтично, сопливо. Без полуоткрытых навстречу губ и «она тотчас вся

приникает ко мне». Пусть лишь мое легкое платоническое объятие, пусть летучие полудетские поцелуи, пусть ее смущенное обязательное «не надо», «пусти», «как тебе не стыдно» и легкое сдерживание моих настойчивых рук – хоть так! Ведь не зря же, в конце-то концов, она меня пригласила на этот праздник, не зря сидит рядом и не уходит – блестят глаза, дыхание затаенное и беспокойное – она явно ждет! А все многочисленные прежние взгляды, кокетство, знаки внимания, многозначительные улыбки, телефонные звонки, отштитый Эдик?!

– Эй ты, парень, опомнись! – отчаянно кричу я теперь, отсюда, через годы и годы. – Вся жизнь впереди, еще всякое будет, не бойся! Пробуй, дерзай – не все получается сразу, не пугайся отказа! Бог с ней, то ли еще будет, но попробовать-то ведь надо! Иначе все равно ведь ее потеряешь!

Увы, не слышит «тот парень». Сидит, как столб. Клинический ступор.

Да, граждане, тогда и в воображении я не мог себе ничего такого представить. Мгновенный огненный вихрь подхватывал меня всего, целиком, при одной только мысли... Даже если я как будто только слегка обнимаю за плечи и прикасаюсь щекой к щеке... Нет. Сердце выпрыгивало.

Кричу опять отсюда, сейчас:

– Прости, милая девочка, я же понимаю, что ты все сделала, чтобы я не был такой дурак, я так любил тебя, но я же, понимаешь, не знал, что делать, я ведь ни разу в жизни то-

гда еще не целовался даже – ни разу! – хотя и выпендривался перед ребятами, у меня просто руки не поднимались. Ты, понимаешь ли, слишком нравилась мне тогда, слишком!

Это теперь.

– Да я понимаю, что нужно хоть руку ей на плечи положить, что ли, ну или хоть придвинуться к ней поближе для начала, это я понимаю, – отвечает мне оттуда «он», пытаюсь отчаянно «сохранить лицо». – Но вдруг она не позволит, вдруг отстранится и посмотрит этак с презрением – стыд-то какой... И потом...

– Да не думай ты обо всем таком сейчас, попробуй хоть, бесстрашно и смело! Скажи, скажи ей, что руки не поднимаются, что любишь, скажи честно языком, если не можешь руками! Отдайся чувствам!

– Да, но... А вдруг Зойка? Вдруг она проснется и услышит, как Аллка говорит что-то обидное для меня, унижительное, вдруг?

– Идиот. Какое дело Зойке? Да она же спит без задних ног, пьяная и усталая. А проснется так вида не покажет, ей же интересно, зачем же... Давай! Руками не можешь, так хоть словами. Ну!

– Да... И так считали, что Эдька Аллке тоже нравится, она же с ним вон как кокетничала и встречалась, говорят... И потом одежда у меня тоже. И на коньках не умею. И дома черт знает что, бардак, денег у нас с сестрой никогда не бывает – а если Аллка в кино захочет или еще куда-нибудь –

на каток, например, или в кафе-мороженое... Она вон какая красивая и дома у нее все хорошо, не то, что у меня...

– Ну и дурак же! Причем тут все это? Кретин. Ничтожество. Сирота верхне-радищевская. Ты что, не понимаешь, что она нарочно сюда на кровать села, она же ждет, не видишь, что ли! Причем сейчас вся твоя ахиня – она женщина, а ты мужчина, вот что сейчас важно, это самое главное, Адам и Ева, понимаешь ты, нет? Трус ты и сопляк. Онанист несчастный.

– С-согласен, что трус. С-сопляк, согласен... Ну, не могу и все. Не могу. Не умею...

– Так учиться надо! Бестолковая твоя голова, вот сейчас и надо учиться, на практике, идиот. Ну-ка, руку ей на плечо, живо! И щекой смело вперед – наклоняй голову, приближайся к ней, дотрагивайся, прислоняйся! Трогай, трогай! Осторожно только... И ногой, коленом давай, нежно так, потихоньку.

– Н-нет. Не могу. Рука не поднимается просто. И шея не сгибается. Не могу. Ноги тоже не двигаются никак. Язык во рту слипся, и в горле першит, слюни текут почему-то, а глотать боюсь, услышит...

– Ох, и дурак же. Ведь потеряешь ее, кретин, все равно ведь потеряешь – так хоть попробуй, еще раз прошу! Не попробуешь – потеряешь точно, а так ведь еще неизвестно, понимаешь ты, нет?! Вдруг получится?

– Н...не могу. Ну не могу, и все. Ну не могу просто. Из-

вините меня. Не могу...

Сопли, слюни, выделения кауперовых желез в мокрых уже трусах. Да и у нее, небось, тоже. Из-за тебя, дурака. Стыд и срам. Обидел девочку, недоносок. Тьфу.

Так и просидели какое-то время. А потом то ли кто-то кого-то из большой комнаты позвал, то ли кто-то из нас сам встал и ушел. Увы.

## «Как закалялась сталь»

6-е мая. Два месяца до моего шестнадцатилетия. В мою комнату заходит сосед, приятель и ровесник Валерка Гозенпуд. Разговорились. И вдруг он выдает мне правду в глаза, режет наотмашь. Хотя я и учусь хорошо в школе, отличник и староста класса, хотя я много читаю, развожу растения, езжу на рыбалку и на охоту самостоятельно, фотографирую и все такое, хотя у меня довольно много приятелей, и ребята меня уважают, однако при всем при этом я здорово отстал от жизни. Почему я не умею хорошо танцевать? Почему редко хожу на каток и так и не научился кататься? Дело даже не только в том, что из-за этого не могу пригласить Аллку, но как же и вообще буду проводить время с девочками? Почему не умею на лыжах, на велосипеде? И плавать не умею тоже! И это не говоря уже о том, что я еще ни разу не был близок ни с одной девочкой. И близко к тому не было! Не целовался даже – и вовсе стыд! Почему?! Ведь мне вот-вот стукнет шестнадцать! То, что не научился пока вести себя с девочками без дурацкого стеснения ладно еще. Это постепенно придет – но только в том случае, если я по-настоящему займусь своим развитием. Ни сиротство, ни бедность материальная – не оправдание. Гимнастику-то утром хотя бы можно делать? А на коньках? А плавать? И велосипед есть у Валерки, он может мне иногда его давать. Коньки тоже какие-нибудь про-

стые можно где-то достать, ну, хоть взять у кого-то на время, чтоб научиться. Их ведь даже напрокат можно брать на катке!

Я слушаю приятеля с чувством горечи, досады и – благодарности. Никто еще так откровенно не говорил со мной. Меня уважали, я сам считал, что у меня достаточно сильная воля. Но Валерка на многое открыл мне глаза.

Мы решаем начать с танцев. Тут же Валерка показывает мне движения фокстрота и танго. Я старательно запоминаю, с завтрашнего дня буду тренироваться регулярно хоть перед зеркалом. И гимнастика по утрам обязательно. Остальное – после экзаменов, экзамены через пятнадцать дней. Но – обязательно! С отсталостью надо кончать.

Я очень благодарен Валерке. Запоминаю этот разговор на всю жизнь. Он был воистину историческим событием в моем земном существовании.

Экзамены сдаю на все пятерки (кроме черчения, правда и физкультуры, потому что физкультуре мешает стыдная моя болезнь). Летом старательно учусь плавать на Москvereке. И делаю утреннюю гимнастику ежедневно. Танцую перед зеркалом иногда. Увы, бугор в мошонке растет. Пока еще уходит в живот, если его аккуратнo и сильно сжать, но быстро появляется снова. Валерка не знает про это, никто не знает. Плавки надеваю в кустах, в баню хожу один, да и нажимаю всегда вовремя, если на виду. Рано или поздно придется идти на операцию все равно. Морально я уже готовлю себя

к этому. Говорят, что это операция легкая, я спрашивал.

...Зима, горят фонари, звучит громкая музыка. Летят серебрястые снежинки, мелькают в лучах фонарей, садятся на лицо, щекотят. Шумно и весело. Стуки, шелест коньков о лед, звенят девичьи голоса. Я лечу, и вокруг все летит вихрем праздничным, воздух свежий, морозный, а мне жарко, костюмы вокруг цветные, девичьи ноги мелькают и попки очаровательные, ну, еще быстрее, по кругу – вперед! – кровь кипит, мышцы поют, радость клокочет: полет!

Каток, Парк культуры и отдыха имени Горького. Трудно было решиться, заставить себя, но теперь – сплошная радость... Бац! Нога подвернулась, удар руками, локтями, бедром о лед, больно коленку, ужасно больно, саднит ладони – холодные, мокрые. Ничего, заживет до свадьбы, ерунда все это – вперед!

Конечно, так и не успел в ту зиму научиться по-настоящему, чтобы смело пригласить на каток Аллу. Она, говорят, хорошо катается...

А еще в девятом классе, кажется, нам задали сочинение на дом. На тему книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Я болел и сочинение не успел написать. Но остался вечер – завтра утром идти в школу, а сочинения нет. А я отличник и староста класса – стыдно. И книга ведь классная. Учит тому, чего так не хватает не только мне, но многим – мужеству. В свое время ведь целые воинские соединения, коллективы заводов и кораблей слали благодарственные по-

слания автору книги. И вовсе не обязательно по наущению парторгов, а потому что – учились. Мне эта книга нравилась тоже, перед ее героем я, как многие, преклонялся. Как и перед героями Джека Лондона.

И сестра возмутилась:

– Как это ты пойдешь завтра без сочинения? Ведь вечер-то есть еще. И ночь целая. Садись и пиши. Нечего раскисать. О такой книге стыдно не написать. Выпей крепкого чая и садись, пиши.

И я сел. И написал к половине второго ночи. И получил потом пятерку за свое сочинение – его, как это было не раз с моими сочинениями, преподаватель читал вслух всему классу. А я запомнил на всю жизнь тот вечер и ночь. И очень благодарен сестре. Как и Валерке Гозенпуду, моему соседу и другу детства.

Что же касается Аллы, то о ней я только лишь фантазировал. От одной мысли о ней, при воспоминании о ее лице, глазах, белейшей восхитительной коже на шее, руках, которые я видел однажды обнаженными до плеч, при одной лишь рискованной, робкой попытке догадаться, что скрывается за приподнятой материей платья на ее груди, голова начинала кружиться, в глазах поднимался туман, их хотелось вообще прикрыть, сердце начинало свой сумасшедший ритм, грудь вздымалась, а там, внизу, в горячей истоме что-то одновременно и сладко таяло, и напрягалось до боли, до звона. Но вот что интересно: мои фантазии все же не шли дальше, то

есть ниже и ее, и моего пояса. Хорошо помню, что даже попку ее – эту гениально созданную Творцом часть тела женщины – я себе не представлял и не помню вовсе, какая она была у нее, как угадывалась сквозь платье или юбку. Не говоря уже о святых, так знакомых теперь, через годы, милых складочках-лепестках... Нет, это и вовсе в полнейшем неведении – то ли во мраке, то ли, наоборот, словно в огне, – я тогда даже не представлял себе, как они во взрослом состоянии выглядят, хотя и помнил, разумеется, жутко волнующую картинку, то есть рисунок из учебника анатомии. Когда же увидел впервые много лет спустя с близкого расстояния – поразился: совсем иначе себе представлял, да и на картинке выглядело иначе...

Да, мои фантазии ограничивались объятиями, нежными поцелуями. В губы, в шейку, самое большее, то есть самое низкое территориально – в грудь. Не ниже. Но и этого вполне хватало. Еще, правда, было световое, музыкальное и парфюмерное оформление в моих мечтах: притушенный красноватый свет, аромат духов – обязательно! – ковры, широкий диван или тахта, почему-то красное стеганое атласное одеяло. Музыка тихая, медленная (флейта... кларнет...). И наше молчание. Не нужно слов, объяснений. Пусть говорят чувства, а также губы, руки, движения наших тел... Я тогда и представить себе не мог – да ведь не слышал никогда – лучшую на свете музыку: взволнованное, сбивчивое дыхание, стоны, крики, отрывистые слова... Да где уж.

# Моя комната

«...И вот вчера вечером мы решили устроить танцы в моей комнате. Из девчонок пригласили Аллу и ее подруг...»

О, потом-то я понял, какой это был рискованный и опрометчивый шаг – тем более после новогоднего моего позора. Вот теперь, с расстояния прожитых лет, вижу: комната была моей неразрывной частью, вернее даже не она, а я был порождением и частью ее – гомункулус, двуногое, двурукое головастое существо, рожденное в глубине матки-комнаты, концентрирующее в себе (до сих пор не перерезана пуповина) волны, вибрации, запахи, исходящие от ее древних стен, оклеенных в то время серо-зелеными, выцветшими, кое-где оторванными, отставшими от штукатурки и слоя газет обоями, грязного, закопченного потолка с лепными карнизами, уцелевшими с дореволюционных времен, с наружной, кое-где провисшей, отцепленной от кругленьких белых изоляторов электропроводкой, стареньким оранжевым пыльным, потрепанным абажуром. Высокая, до самого потолка, побеленная прямоугольная колонна печи возвышалась справа от входной двери. Над железной дверцей ее красовалось черное пятно копоти, похожее на закругленный язык; под большой этой дверцей была и еще одна, маленькая, за которой открывался зев поддувала, где скапливались залежи серой мягкой золы, тихо струящейся на округлый кусок почерневшей же-

сти, прибитой к паркету пола. В зимнее время печь занимала, разумеется главное место в иерархии комнатных ценностей, топка ее была настоящим искусством, которое я осваивал с детства. Тепло печи – энергия нашей мрачной военной и послевоенной жизни...

Выбрать сначала полено посуше, желательно, конечно, сосну, очень хорошо, если смолистую, толстым ножом нащепать из него лучинки – ставя полено на один торец, на другом отмерить тоненькую полоску от края и, вонзив в узор годовых колец бывшего дерева лезвие ножа, навалиться на него всем телом, левой рукой надавливая на тыльное тупое ребро лезвия, а правой на рукоятку, и с характерным шипением, треском сползая вдоль полена, отделяя от него полосу маслянисто-желтой свежей лучины, вдыхая острый, пряный, иногда кисловатый аромат леса. Потом еще, еще... До сих пор при воспоминании начинают тотчас ныть набухающие ладони и вот-вот выступают красноватые полоски от тупого тыльного ребра лезвия... Наконец, лучинок достаточно – я кладу смятую в комки бумагу в закопченное мрачное жерло топки, а еще лучше, если бело-розовые завитки бересты, сверху выстраиваю аккуратный шалашик лучины, на него – потоньше и посуше поленья, так, чтобы между ними оставались достаточно широкие щели, – теперь только чиркнуть спичкой, поджечь аккуратно... Если дрова сухие, то очень скоро веселое бойкое пламя охватывает все сооружение, возникает устойчивая воздушная тяга – печь начина-

ет дышать... Дверцу нужно закрыть, а нижнюю – поддувало – слегка приоткрыть. И вот уже гудит, играет буйный огонь, лихо посверкивая сквозь щели между дверцей и кирпичами – «спящая царевна» ожила! – и большое, мощное тело ее дрожит от сдерживаемого восторга... Воздух в комнате становится свежее, чище, хотя пахнет чуть-чуть горьким, смолистым дымком. Жизнь просыпается во всех нас...

Оживаю не только я – оживают постепенно, просыпаются от спячки и словно слегка шевелятся неподвижные до того и замерзшие, как и я, постоянные обитатели комнаты: большой, красного дерева, со многими ящичками старинный комод с прямоугольным зеркалом в деревянной резной оправе, подвешенным на резных же столбиках (мы называли его «туалет») – этакий мощный, сытый толстяк... За ним – стройный ореховый платяной шкаф с искусными завитушками на дверце (утонченный аристократ...); его простенький, легкомысленный меньшей брат – шкафчик, только не из ореха, а – как и комод – из красного дерева; шаткий, совсем старенький овальный столик на одной центральной подставке (одноногий пенсионер-старичок...); разохшаяся, почти разломанная бамбуковая этажерка, изнемогающая под тяжестью напиханных в нее книг и тетрадей (трудяга, вечно всем помогавшая, словно костлявая, курящая и кашляющая пожилая интеллигентка); основательное, старинное бабушкино кресло, глубокое, с дырами в обивке, из которой торчат пружины, накрытые, правда, каким-то тря-

пьем (пытающийся сохранить достоинство и военную выправку больной генерал...); железная, расшатанная, плебейская, совсем не в масть остальному кровати, стальная мелкая сетка которой местами проржавела до дыр и накрыта сначала тоже каким-то старым тряпьем, а потом не менее древним матрасом, единственной простыней и неприятного, коричневатого-желтого оттенка одеялом – этакое жилистое, скрипящее существо с сомнительным криминальным прошлым... А вот, наконец, – занимающий центральное место, солидный, тоже красного дерева, тоже весь покрытый искусной резьбой, круглый стол с тяжелой, темно-красной, исчерченной многочисленными белыми жилками мраморной круглой плитой посредине – атаман-председатель... Мы одной крови – они и я...

И все бы ничего, и могло бы это древнее антикварное семейство «родственников» создать вполне приемлемый, аристократический даже колорит в задрипанных стенах моей родной комнаты, однако за военные и послевоенные мрачные годы превратилось оно в компанию ободранных, обшарпанных, искалеченных инвалидов, да еще и заваленных теперь всяким старьем, выбросить которое было жалко, так как заменить нечем. Между колонной печи и одной из стен навалены дрова, над ними висит старая драная одежда, форточка в нижней части одного из двух окон отсутствует, и дыра заткнута древней подушкой (рамы гнилые, да и стекло не просто достать), паркет тоже растрескался, кое-где в полу зияют

глубокие щели, из которых очень трудно выметать мусор. В углах, за шкафом, за туалетом, под этажеркой тоже тряпье, резиновые сапоги, валенки, рыбацкий маленький чемоданчик, фотоувеличитель, ванночки, фонарь, бутылки, старая клетка, книги, которые не уместились на этажерке, и много еще другого всякого барахла.

И вот в убогую, мрачную эту обитель, в темное от пыли и копоти чрево, хранящее память о нелегких годах, копилках, голоде, клопах, смертях, болезнях, слезах и маленьких радостях, в душную эту свою родную берлогу я пригласил ребят, а среди них – предмет первой, трепетной, хрупкой моей любви. Светленькую, аккуратную, опрятно одетую девочку, дочку вполне обеспеченных, интеллигентных родителей, никогда не знавшую, как я думаю, что такое голод, грязь, отсутствие самого необходимого. Едва ребята вошли, как по растерянным глазам своей любимой я понял, какую сморозил глупость. Но, очевидно, все поняв по моим глазам, желая, очевидно, как-то успокоить, утешить меня, сделав вид, что все это для нее не имеет значения, Алла изящно уселась в кресло... Вернее, хотела усесться, потому что тотчас же и вскочила, ибо какая-то из пружин «генерала», очевидно, повела себя непристойно. Вскочив, Алла приподняла накидку, увидела в кресле зияющую дыру... Конечно, в те времена не многие жили благополучно, но я-то, я-то ведь лидер компании, я всегда так гордо держался и – претендовал на внимание не кого-нибудь, а – первой красавицы «женской» школы!

Я открыл перед нею самое сокровенное – мое родное жилище, – и получился жестокий конфуз...

Мы тотчас организовали танцы под патефон, который я взял у Риты, я, конечно же, хорохорился, пытался показать, что мне все нипочем, но преодолеть ощущение скованности и жуткой какой-то униженности так и не смог.

На другой день после школы я решил позвонить ей не из квартиры, а из уличного телефонного автомата, чтобы не подслушивали соседи. Важно было узнать, как она, не разочаровалась ли во мне окончательно после всего. Сначала спросил, нет ли у нее стихотворения Некрасова «Родина», которое нам задали по внеклассному чтению. Она сказала, что нет. Тогда я вдруг признался, что позвонил не из-за этого, а просто сказать, что она мне очень, очень нравится.

– Ну, что ж, я верю, – спокойно и холодно произнесла она.

Каждое ее слово, каждый звук ее голоса был для меня как небесная, несказанно прекрасная музыка. Даже такие слова – холодные и почти враждебные, как сейчас.

– Что же ты ответишь на это? – тем не менее глупо спросил я, преодолевая холод ее, борясь со своей беспомощностью перед ее безусловной властью, идя ва-банк.

Она сказала, что не понимает, на что надо отвечать. Тогда я – головой в омут – предложил ей встретиться.

– Зачем? – спросила она.

– Я хочу сказать тебе то, о чем не говорят по телефону.

– Сегодня я не могу. У меня занятия с репетитором по

английскому. Учительница приходит.

– А завтра?

– Тоже не знаю, смогу ли.

Ощущая мертвенный холод, в полном отчаянье я повторил:

– Ты мне нравишься, правда.

– Знаешь, сколько людей мне это говорят? – сказала она даже с какой-то досадой. – Во всяком случае, если я правильно думаю о том, что ты скажешь, то дружить я ни с кем не собираюсь.

– Хорошо, – упавшим голосом проговорил я, едва шевеля губами. – Завтра я позвоню тебе еще.

И повесил трубку.

...Но продолжались, продолжались наши детские, бестолковые гуляния по улицам, дурацкие телефонные звонки, за которые потом было стыдно, бесконечные сомнения, фантазии. Чувство постоянной униженности, неуверенности, и – гимнастика по утрам, танцы перед зеркалом, коньки зимой, поездки за город летом, дневник...

# Первый тетерев

Нужны были победы. Обязательно! Хотя какие-нибудь...

Из дневника:

*«...Приехав в Рогачево, мы направились по знакомой дороге на север... Вечером первого дня мы пошли на речку ловить рыбу. Места очень хорошие, но берет все-таки слабовато. Я поймал штук 5 окуньков, Левка – штуки 4, густерку и пару пескарей. Эдька поймал штуки 3 ёришка.*

*На другой день, это было 13-е августа, мы встали в 5 часов утра и отправились на рыбалку. Сидели до семи часов и почти ничего не поймали. Искупившись, решили пойти на охоту. Пошли вдвоем с Эдиком. Я все время твердил ему об осторожности в обращении с ружьем, и он старался. Вышли на болото за 3-ей канавой. Было часов 10 утра. Мы прошли по очень хорошим местам за 3-ей канавой, по ягодникам, но... не вспугнули ни одного косача. Вышли на канаву, прошли еще с километр. Я нес ружье наготове со взведенными курками. Вдруг передо мной раздался характерный звук тетеревиного взлета – взбалмошные, чуть ли не пушечные удары крыльев. Я вскинул ружье и повел стволами, но тетерева не увидел. В то же мгновение из-за кустика, который был шагах в 25 впереди и левее меня, поднялся второй косач, но не взлетел он и на два метра, как сраженный моим выстрелом упал на ковер из мха и прошлогодних листьев.*

*Когда я подбежал к нему, его прекрасный хвост лишь слегка дергался. Из клюва обильно текла кровь, на перьях же – ни кровинки: доказательство резкости боя моего ружья. Как красив был этот первый мой косач! Я положил его в сумку, и ремень начал слегка «приятно резать плечо», по выражению С.Т. Аксакова.*

*Больше в этот раз мы ничего не встретили.*

*Интересно то, что в Пустыни в этот сезон еще никто не убивал тетерева, даже охотники с собаками.*

*Итак, я сам поздравил себя «с полем»...».*

Читая, вижу опять со стороны «того парня», который писал все это. Любопытно: «Эдик» – это тот самый Эдик, который так упорно и нахально ухлёстывал за Аллой и которого она в конце концов «бортанула». Я, конечно, простил его, и на охоте он полностью мне подчинился... Но главное, главное – другое: помню, помню тот знаменательный день 13 августа, помню...

Влажный, обволакивающий и приторный аромат багульника (голубику в тех местах называют «пьяницей», потому что растет среди багульника, чей аромат пьянит), мягкий ковер мха под ногами, в котором сапоги тонут наполовину, редкие хилые березки вокруг, желто-бурые, серое мутное небо над нами, ощущение подавленности, затерянности в бесконечном пространстве, напряженное ожидание взлета больших черных птиц, всегда внезапное, взрывное появление их с оглушительным хлопаньем крыльев – до мурашек

– и ощущение дикого первобытного торжества, ружье навскидку, дрожь волнения, сравнительно слабый стук выстрела, толчок в плечо, кислый запах бездымного пороха, очередное – как правило – разочарование промаха, расслабление... Но в тот раз я ощутил ошеломляющую радость победы, клопочущие крики вырвались из моего судорожно сжимающегося горла (кажется: «Дошел! Дошел!») – так писали в охотничьих книгах...), слезы восторга и благодарности готовы были брызнуть из глаз; задыхаясь, я бросился к упавшему черно-белому красавцу, который лежал на мху, чуть-чуть вздрагивая, подвернув свой короткий черный хвост, вывернув белоснежное подхвостье, и кровь, льющаяся из клюва, горела так же, как набухшие празднично брови. И тотчас ощущение торжества сменилось чувством раскаяния, жалости, хотя и не уходила радость победы... Что-то общее – да, очень похожее! – на то, что испытывал я когда-то с девочкой, которая была по условиям нашей военной игры, «врагом»... И еще на то похожее – понимаю теперь, – что стал испытывать потом – много позже! – с девушкой, женщиной, когда стонет она в беспомощности и восторге, и прижимает к себе, и мечется ее голова на подушке, и закрыты или, наоборот, широко и дико раскрыты глаза, неотрывно, жадно смотрящие в глубину моих глаз, а стоны – радостные и жалобные одновременно, торжествующие и беспомощные, – ласкают слух и будоражат душу. И раскинуты широко ее ноги, и я готов весь, целиком проникнуть в нее, и жалость и

нежность к ней соединяются с клокочущим в горле жестоким рычанием, и рвется, кажется, из груди счастливая, победная, первобытная песнь...

То был первый в моей жизни добытый тетерев, хотя я не раз уже бывал на охоте и либо ничего не встречал, либо позорно мазал.

То была так нужная мне победа. Пусть не в том, что было столь важным и становилось все важнее и важнее. Но все-таки.

## Еще победы

А в декабре того же года я все же одержал, наконец, настоящую, одну из самых крупных своих юношеских побед: пошел в клинику. И сказал, что готов лечь на операцию когда угодно. Только не во время экзаменов в школе, конечно.

Операция состоялась на следующий год, 6-го февраля.

Сначала было посещение небольшого кабинета, и пришлось спустить больничные штаны и трусы, и молоденькая сестра брила наголо «операционное поле», и я напрягал всю свою волю, чтобы не дай-то Бог, не опозориться, не среагировать на эти нежные касания девичьих рук – впервые во «взрослой» жизни, но не где-нибудь, а в медкабинете, увы. Сдержался, вышел из кабинета с благополучно голым лобком и всем остальным, готовый.

Везли потом на каталке в операционную. Сначала боялся, конечно, панически, хотя и вел себя прилично. Но в какой-то миг вдруг подумал: жребий брошен, от меня уже ничего не зависит. С каталки ведь не вскочишь, назад не побежишь. Будь что будет, вручаю Тебе, Господи, судьбу свою, а Вам, Роберт Станиславович Асмоловский, мой первый в жизни хирург, тело свое. Смотрите, ради Бога, внимательно, не режьте лишнего, зашить потом не забудьте как следует, не оставляйте ничего постороннего в моих недрах. А поэтому мне лучше не дергаться, не мешать, не отвлекать, вести себя

нужно достойно.

Помню яркий свет широкой плоской лампы, состоящей из многих ламп, совершенно белых, слегка, может, голубоватых; где-то там, выше, потолок операционной; в поле зрения появляются люди в белых халатах, в шапочках, с марлевыми повязками на лицах – опять что-то из далекого детства. Расставленные пальцы рук хирурга, его сочувственные ласковые глаза. Ассистенты надевают ему резиновые желтые перчатки, и вот он уже смазывает все мое хозяйство сначала спиртом – чтобы охладить.

– Дело молодое, – говорит, подмигивая мне, улыбаясь.

А потом – йодом. Это я еще видел, но вот перед лицом опускают кусок простыни. И руки мои привязывают к столу – на всякий случай. Первые уколы, потом действие наркоза – потеря чувствительности там, внизу живота. И вот они уже что-то делают сосредоточенно с моим бесчувственным телом, я полностью в их власти. И во власти Бога, как всегда. Господи, помоги им, вразуми их, а меня прости за то, что я такой трус и дурак, я постараюсь, обязательно постараюсь вести себя лучше, смелее, я научусь пользоваться тем, что Ты мне дал, прости, прости меня, неразумного труса... Позвякивают инструменты, слышны короткие тихие реплики, мое безвольное тело дергается иногда. Но вот, кажется, зашивают.

После всего, когда благополучно привезли обратно в палату и часа через два заморозка стала отходить, было больно,

но радость победы уже разгоралась во мне, уже распирала грудь – неужели? Неужели я теперь буду... нормальным? Но когда, наконец, решился пощупать рукой (все ли на месте?), то – о, ужас! – нащупал, кроме привычного и нужного, почти прежней величины бугор в мошонке – тоже привычный, но ведь не нужный, не нужный! И слезы обиды, досады готовы были хлынуть из глаз. Как же это? Неужели не вырезали?! Только утром следующего дня хирург осмотрел, сказал, что все в порядке, что это – послеоперационная опухоль, так и должно быть, она рассосется, все в порядке.

– Через полтора месяца штангой сможешь заниматься, – сказал он с улыбкой, и слезы радости на глаза у меня все-таки навернулись.

Интересно, что это было в год смерти Сталина. Я ко дню похорон уже выписался из больницы, ходил по квартире, но идти на «всемирные похороны» все-таки не решился. Хотя в своем дневнике написал-таки слезный «некролог», который теперь стыдно и странно читать, но который легко объяснить общим гипнозом и тем, что, как уже говорил, слишком был занят своими проблемами, а до социальных размышлений пока еще не дозрел. К тому же в школе-то был отличник и экзамен по Сталинской Конституции, в частности, сдал потом, конечно же, на пятерку.

А в том же году, в апреле, кажется, пришел на занятия по физкультуре – не стесняясь уже переодевать трусы. Так совпало, что физрук затеял игру «в петухов». Тогда сегодняш-

нее позорное слово не имело теперешнего значения. А просто подбирались пары приблизительно равные по комплекции и, прыгая на одной ноге и подогнув другую, нужно было плечом толкнуть соперника так, чтобы он, теряя равновесие от твоего удара, опустил вторую ногу, чтоб не упасть. А ты чтобы устоял. Когда подошла моя очередь, физрук в соперники мне выбрал Кустова, одного из самых крепких и хорошо сложенных парней класса – уже это вызвало гордость во мне. И вот дана команда, мы, подогнув ногу, насккиваем друг на друга, сталкиваемся плечами, и... Вот это да! Кустов с грохотом летит на пол, а ребята, наблюдающие за нами, дружно аплодируют. Я даже не сразу понял, что они аплодируют – мне! Ведь я, оказывается, победил с явным преимуществом! Значит – могу?!

## На лекции в МГУ

...Но вот мне уже и девятнадцать. Почти никого из тех девушек, что станут, как сейчас принято говорить, моими «фотомоделями», еще нет на свете. Нет на свете моих будущих жен и подавляющего большинства будущих моих любимых женщин. Я – другой человек, не теперешний, я все еще «тот парень». Мог ли представить тогда, что буду фотографировать девушек обнаженными, что научусь их любить так, чтобы и они любили меня, что любимые и любовницы будут вдвое, а то и втрое моложе меня, причем вовсе не купленные, а заслуженные, честно завоеванные и – на равных?! Нет, конечно, не мог. Но рассчитывал на свое «светлое будущее» безусловно. Каким же образом? А просто. Будет оно – и все тут. А как и когда – не знаю. Стойкое ощущение не покидало меня никогда: нужно быть самим собой, не делать – по возможности – глупостей, стараться освободиться от недостатков, комплексов и – учиться. Учиться и учиться, трудиться и трудиться, а там – будь что будет. Легко, конечно, сказать...

И вот сижу, представьте, на лекции по физике в одной из просторных, светлых аудиторий физфака МГУ на Ленинских горах – лекция известного, заслуженного профессора Сканави. Ноябрь. Вот уже полтора года, как я студент одного из лучших вузов Советского Союза.

Да, как ни странно, окончил школу с Золотой медалью,

сдав все экзамены на пятерки, и мы с сестрой решили, что получить высшее образование, конечно, необходимо. Она предложила военную Академию – «По крайней мере будешь всю жизнь обеспечен», – но я решил поступать в университет на физфак, потому что физика нравилась мне, к тому же в последнее время она делала фантастические успехи: ядерная энергия, полупроводники, электроника, автоматика... Чехов был врачом и писателем, а я стану физиком и писателем!

Победно прошел собеседование и стал студентом «одного из престижнейших вузов страны», высотные корпуса которого были сданы только что – с бассейном, с лабораториями, оборудованными новейшими осциллографами, масспектрометрами и еще много чем. На торжественном открытии Главного здания был многолюдный митинг – и столько оживленных, красивых, веселых девушек и парней там было, и так приветливо, радостно светило солнце в тот день, и так «носились в воздухе» надежды на новую, свободную жизнь! После смерти Отца Всех Народов люди опомнились, и многие уже понимали, кем он на самом деле был, но теперь-то, теперь-то все будет совсем по-другому, по-новому...

А в августе – перед началом учебы – я почти целый месяц жил у знакомой старушки в Рогачеве, снимал комнату в деревенской избе, ходил на охоту, на рыбную ловлю – и там, в Медвежьей-Пустыни, была такая великолепная встреча с такой очаровательной девушкой... Она, правда, не закончилась тем, чем могла бы закончиться, но... Представьте

себе, хотя я и не мог забыть Аллу – ведь потерял ее, потерял позорно, по своей собственной глупости, по неопытности, по трусости и неразумению уступил другим, более опытным своим одноклассникам... – но все же встреча в Медвежьей-Пустыни чуть-чуть успокоила душу, и, мало ли... Она, та девушка – Рая! – может еще позвонить...

Да, граждане, дорогие мои соотечественники, увы, я все еще девственник. Стыдно в девятнадцать-то лет, но ничего не поделаешь. Настроение – ни к черту. То, что было в том августе – больше года назад, – удалилось, Рая не звонила, а ее телефона у меня нет. Алле как-то задумал писать письмо, написал, переписывал несколько раз, стараясь сделать покрасивее почерк, но так и не отправил. И правильно. По слухам, она тоже учится в институте, я даже знаю, в каком.

Плоховато у меня и со зрением. С трудом вижу, что там пишет на доске профессор, очки носить не люблю – мне кажется, что они мне не идут, а потому я забыл их дома, – и вместо лекции в толстой тетради пишу свой дневник.

Ко всему прочему, вылез у меня внизу новый бугор, точнее – мешок (пять ненавистных букв: г-р-ы-ж-а) – теперь с другой стороны, левой. Не прошло и года после операции справа. Испытания, стало быть, продолжаютя...

А еще я один из самых худших студентов в группе по успеваемости – это после того, как в школе привык быть почти всегда первым. Чувствую уже: занимаюсь не своим делом. И повинна в этом не физика вовсе – а просто впечат-

ление такое, что на физику как таковую большинству студентов и преподавателей здесь наплевать: важно а\ не вылететь из университета ни в коем случае, б\ понравиться преподавателям и служащим деканата, особенно инспектору Вере Ивановне, противной прыщавой женщине (почти не сомневаюсь, что она старая дева) – она без конца шастает по коридору в перерывах между лекциями и шпионит, шпионит, проверяет журнал посещений у старосты группы и чуть что «ставит вопрос перед деканатом» об отчислении или, в лучшем случае, «лишении студента стипендии», в\ всячески подчеркивать свою безусловную приверженность политике партии и правительства, г\ ни в коем случае и ни в какой форме не показывать интереса к соученикам противоположного пола, д\ при всем при этом делать вид, что оно, то есть бесполое, послушное существо «студент» есть нормальный, лояльный «строитель Социализма». А если кто не соответствует перечисленным пунктам, то он чуждый, не наш, и ему не место... Странно все-таки – вроде бы и Сталина уже нет, однако...

Что же касается нескольких девиц нашей группы, то их принадлежность к «прекрасному полу» можно определить лишь по одежде, а также по чисто визуальному наличию вторичных половых признаков, которые, впрочем, отнюдь не выдающиеся. А я-то думал, что теперь, после школы... Ведь самые лучшие годы! Увы.

Правда, я записался в секцию плавания – бассейн ведь!

Но вот такая штука: плавание пока что у нас «сухое». Дело в том, что высотное здание сдано, как это у нас принято, в срок, однако же с недоделками, одна из них – бассейн. Мы, конечно, тренируемся – бегаем, прыгаем (не с вышки, разумеется!), делаем упражнения в зале: ложимся на скамеечки и машем руками, словно плывем. А в недостроенный бассейн заглядываем иногда – посмотреть. Точно как в том анекдоте: если мы, психи, будем себя вести хорошо, обещают воду налить...

Вообще-то я понял теперь, почему Главное здание МГУ такое огромное: чтобы постоянно напоминать студенту о полном его ничтожестве. В лабораториях полно приборов: вакуумные насосы, счетчики Гейгера, осциллографы, компрессоры, радиосхемы, диоды-триоды, полупроводники – чего там только нет! – некоторые работают, некоторые уже сломались, но впечатление такое, что не для нас они вовсе, неродные какие-то. Иногда мне кажется, что они просто-напросто высасывают из нас жизненную энергию, вот и все. Мы постепенно гибнем.

На лекции на втором курсе почти совсем перестал ходить. Бываю иногда на семинарах, на практикумах. По школьной инерции что-то делаю, что-то все же чудом сдаю – первую сессию сдал, как ни странно, без троек. А вот во втором семестре схлопотал первую в жизни экзаменационную тройку. И лишился стипендии, потому что пересдать так и не удалось.

На эту лекцию вот, пришел все же. Но толку мало: предыдущие пропустил, а потому сейчас ни черта не понимаю. Вот и пишу поэтому свой дневник...

Звонок. Кончилась лекция. Заморенные все встают, сползают со своих мест, спускаются по ступенькам вниз, толпятся у выхода. Девчонки помятые, заспанные, поникшие. Тоска. Душно в аудитории. Скорее, скорее на воздух, на солнце, хотя оно и садится уже. Домой, домой! Отписался, отдумался, завтра на лекции ни за что не пойду. Что делать-то, а? Как дальше быть?

Быстрее, чтобы ускользнуть от Толика Жукарева, от Пашки Васильева, с которым как-то близко сошлись в последнее время, хотя я «отстающий», «злостный прогульщик», а он ровно наоборот – отличник... Одному побыть.

Заворачиваю за угол высотного здания и вдруг вижу деревья. Они стоят тихо и неподвижно – ветра нет. Мертво протянулись заиндевевшие белые ветви. Хрупкое морозное кружево. Так остро чувствуется знакомая тишина зимнего леса. Тихо. Холодно. И мертво. Снег. Морозная легкая дымка. Бледное небо. Низкое солнце садится... Там, в лесу, засыпанном снегом, спокойно стоят белые спящие деревья. А я здесь. Один-одинёшенек.

И словно услышав мои мысли, неожиданно и жалобно кричит-чирикает птица в белых кустах около прожектора.

– Привет, привет тебе, маленькая! – думаю я, и глаза мои пощипывает не только от мороза. – Как же грустно без вас

без всех. Сижу здесь, как заключенный. Никто никого не любит... Так на волю хочется, просто слов нет...

А скоро зачеты.

# Безнадега

Ладно бы еще, если бы не хотелось. А то ведь мечтаю, фантазирую постоянно, вижу во сне. И чем дальше, тем труднее перейти от мечты к действительности, вот ведь какая беда. Чем больше хочется, тем труднее... Может, я какой-то неполноценный? Перед ребятами я, можно сказать, король, у меня даже кличка в квартире есть: Президент. Так называл меня сосед Григорий Вениаминович, а ребята подхватили. Но перед девушками... Конечно, я думаю не только об «этом». А точнее – дело вообще не в этом. Если бы проблема заключалась лишь в моем постыдном – согласитесь же – целомудрии, решить ее было бы очень просто. Девчонкам, судя по многим признакам, я нравлюсь. Достаточно было бы найти какую-нибудь попроще, и дело в шляпе. Я же ведь знаю, что для некоторых девчонок это – раз плюнуть.

Но тут что-то другое. Я словно боюсь предать. Для меня немислимо пойти на это просто так. Что-то святое... Я ничего не понимаю. Я измучился. С одной стороны, это ведь так приятно и так просто, кажется. Из книг, из разговоров, из анекдотов я знаю, что женщины хотят этого не меньше, а порой даже больше, чем мужчины. Чисто физически этот акт даже необходим для здоровья, это я тоже знаю из книг. Периодически накатывает дикая тоска от того, что у меня этого не было, нет. С ненавистью думаю о том, что завишу

от этой глупости, от «низкой» этой потребности. Я слышал, что за границей есть всякие хитрые приспособления, предметы – модели того, что доставляет такие приятные ощущения и приводит к разрядке. Есть даже куклы в человеческий рост – с подогревом, вибрацией, смазкой... Ненавижу себя, стыжусь, но – хотел бы увидеть такую куклу и... попробовать, может быть... Что же делать, боже мой. С девчонками так непросто. Зачем они врут, обманывают, выпендриваются постоянно...

Ну, вот хотя бы только один эпизод из той моей жизни.

Один из приятелей, Миша Дутов, с которым мы дружили вообще-то на почве охоты, догадывался о моей досадной и, с его точки зрения, смешной беде, хотя впрямую мы об этом не говорили. Он-то красавец, смелый и опытный – хотя мне ровесник, – ассириец по национальности, черноволосый и черноглазый, еще в незапамятные времена преодолел свою девственность. Как благородный человек он не тратил слов на сочувствие и советы, а просто предложил познакомиться с одной из своих подружек, красивой, молоденькой и абсолютно сговорчивой. Светлана, 17 лет. Сам Миша не хотел при сем присутствовать, понимая, очевидно, что это смущало бы и меня, и Светлану. Выбрали оптимальнейший вариант: мы должны быть с Валеркой Гозенпудом (в отличие от меня, уже взявшим мужской барьер), а Светлана обещала привести с собой подругу.

Светлана – высокая и действительно красивая девушка с

длинными русыми волосами, сильная, раскованная, решительная, но... Последнее как раз и оказалось главным для меня препятствием. Что если я... Ведь в первый раз! Вдруг я буду делать не так? Стыдно... Смеяться будет... Подруг она с собой привела аж двоих, причем одна из них – молоденькая блондиночка Лена, а другая... Другая, представьте себе, мама Лены: моложавая, симпатичная и тоже Лена... Миша успел сказать мне, что последнее ничего не значит, мама с дочкой вполне подруги, в теплых компаниях, как правило, бывают вместе и ложатся в постель с ребятами ничуть не стесняясь друг друга. «Ложатся в постель с ребятами...» – услышав это я словно окоченел.

Дело было летом, встреча состоялась в двухкомнатной квартире в нашем дворе – хозяева уехали на дачу, а Валерку оставили сторожем. Все было бы вполне, как говорится, в масть, если бы...

Валерка, поняв ситуацию, нарочно дурачился, даже матерился, чтобы создать раскованную, лихую атмосферу, девушкам это явно нравилось. Светка тоже за матерным словом в карман не лезла, и получалось это у нее, надо сказать, весьма артистично. Артистично-то артистично. Но... Она, Светка, вообще выглядела королевой: красавица с роскошной грудью (это было видно сквозь платье), с великолепными размашистыми бровями, с ощущением несомненной собственной значительности. Запомнился ее запах – сильный и незнакомый, как у породистого животного. Но... Увы... Все

это и было плохо. Для меня. Потому что слишком.

Валерка довольно вскоре скрылся с Леной-маленькой в другой комнате, оттуда уже доносились любовные вздохи и стоны обоих, а я все еще вел дипломатические переговоры на высшем уровне... Звуки не только не облегчали моего положения, а, наоборот, усугубляли... И с печалью, как теперь понимаю, смотрела на меня мама-Лена...

Валерка, лихо закончив свое мужское дело, вошел к нам возбужденный, всклокоченный и, вызвав меня в коридор, спросил:

– Ну, ты как?

– Да как-то... – замялся я. – А у тебя как?

– Да, ты знаешь, у нее дырка далеко расположена очень, низко, я насилу достал... Может, она меня в жопу направила? Черт знает, мне не понравилось. Может, и правда в жопу?

– Может быть, – сказал я машинально, совершенно офонарев.

Чуть-чуть побеседовали еще за столом, но, разумеется, все на том и кончилось. Женщины вскоре заторопились домой.

– Куда я тебя... В п... или в ж...? – рассерженно вдруг начал допытываться Валерка у маленькой Лены при всех. – Говори, слышишь! Куда, в п... или в ж...?! Скажи честно!

– Туда...

– Куда туда?!

Лена заплакала.

Миша Дутов потом конфиденциально сообщил мне, что я, мол, Светке понравился, но она именно поэтому, якобы, решила подольше мне «не давать», чтобы, значит, привязать к себе покрепче...

– Ты зря ее сразу не сделал! – посетовал Миша. – Теперь труднее будет, она в тебя влюбилась, по-моему, и будет стесняться, оттягивать, ломаться, вот посмотришь. Зря ты. С ней же вся Лепиловка жила, она опытная, знает, что и как... Зря упустил.

И добавил мой благородный друг, что стаж Светка имеет с 12-ти лет, а однажды у нее было общение то ли с шестью, то ли с восемью парнями одновременно... А Лепиловка – это небольшой район недалеко от нашего дома с весьма криминальной репутацией...

Из дневника:

*«22 декабря, среда. Мрак и тоска. Иду от остановки автобуса к станции метро. Возвращаюсь из университета после коллективного зачета по математике за третий семестр. Сыро, туман, ноябрьского мороза как не бывало. Декабрьская слякоть. Блестит мокрый асфальт, пешеходы уныло месят грязную снежную кашу, с шипеньем и брызгами проносятся автомашины. Время еще не позднее, но уже темно, тускло горят желтые фонари.*

*Неделя зачетов началась в понедельник, 20-го. Одна за другой две контрольных. Первую нахально списал у Пашки Васильева, другую чудом осилил сам. Но, боюсь, плохо:*

задачи, кажется, решил неправильно. Увидим. Сегодня на коллективном зачете черт дернул преподавателя меня вызвать – ведь я же хорошо написал контрольную (списав у Пашки), – вот он и вызвал меня. А быстро поняв, что ни черта я на самом деле не знаю, принялся издеваться. Такого унижения я давно не испытывал. Как ни странно, зачет мне все же поставил, но ведь экзамен предстоит – там и вспомнится. Завтра – линейная алгебра, послезавтра марксизм, а 29-го экзамен по английскому.

Ощущение, что ползу по скользкому склону: несколько неверных движений, и лечу вниз. Незачет, беседа «по душам» с деканом, не допускают к экзаменам, отчисление и, наконец, армия. Это, последнее, – самое страшное: «ты начальник – я дурак». И все мои великие замыслы летят к черту – там, говорят, научат «Родину любить». Навсегда.

Денег, разумеется, нет. Долги. Жрать приходится редко. Ноги мокрые – ботинки порвались. Других нет, а на носу морозы. У Риты тяжело тоже. У меня же ни к чему желания нет, вот в чем дело. Никаких желаний нет вообще, увы. В комнате моей живут ребята-студенты, жильцы. Аж целых трое – жить-то мне ведь на что-то надо. Хорошо хоть платят почти регулярно.

Иду, иду к метро по грязной декабрьской улице, бреду. Тоска, тоска. Мелькание машин, мельтешенье теней-пешеходов. Тусклые, унылые фонари. Грязь, туман, морось. В метро хмурые озабоченные лица. Чужие все. Дома грязь и

*бардак. Ребята тоже не в настроении. Сил нет даже разговаривать, ложусь на свое железное ложе. Все мы какие-то дохлые. Но спать рано, базарим нехотя.*

*– В карты, что ли? – лениво предлагает кто-то.*

*– Давайте...*

*Игра называется «храп» – думать не надо, не преферанс.*

*– Кто сдает?*

*– До туза, ребята, до туза...*

*Даже сны нормальные перестал видеть. Так иной раз промелькнет что-то – Алла, например, – но как-то вдалеке, отблеск давний. И никаких полетов даже во сне. И никаких оргазмов-поллюций, увы. Скучно. И Рая не снится. С Ленкой тоже тоска. Ничего подобного первой ночи. Да уж, эта первая ночь...»*

# Ленка

Итак, еще одно: Ленка.

Из дневника:

*«... То был очередной «вечер группы» в моей комнате с девчонками из Пединститута. Эти «вечера группы» придумал я. Ведь познакомиться с девушкой у нас совершенно негде – если только по месту работы или учебы, – а ведь на факультете с девчонками туго. Но в общежитии высотного здания есть гостиные на каждом этаже, и меня однажды осенила идея: устраиваем «по комсомольской линии» вечер группы и приглашаем на него официально девчонок из какого-нибудь «женского» института – Педагогического, к примеру, или Медицинского, где большинство, наоборот, девушек. А приглашаем сами: едем во время занятий, ходим по коридору в перерыве между лекциями, выбираем самых симпатичных, представляемся, назначаем встречу в метро, встречаемся, едем с ними в гостиную... Один вечер таким образом состоялся, но потом возникли сложности: мы же хотели почаще, а нас не захотели пускать: в общежитии система пропусков...*

*Ну, и моя идея получила развитие у меня же: договариваемся, значит, как раньше, но, встречаясь в метро, с грустным видом говорим, что гостиная – надо же, вот не повезло! – оказалась занятой, потому что деканату взбрело в*

голову организовать вечер афро-азиатских студентов... Но мы – раз уж встретились – можем поехать на одну квартиру – недалеко! – которую снимают несколько наших студентов.

Девушки уже настроились, отпросились дома, соответственным образом нарядились (некоторые даже брали бальные туфли с собой) – не возвращаться же теперь домой... И мы едем в мою коммуналку. А я заранее пригласил знакомых парней. Да и ребят-эсильцов у меня ведь трое.

Договаривался с девчонками, разумеется, я – брал с собой кого-нибудь из ребят «для тыла», – встречал тоже я с кем-нибудь. Дошло до того, что мы назначали встречу иной раз сразу двум компаниям с разрывом в полчаса и либо приглашали тех, кто больше нравился, либо объединяли. За два месяца в моей бедной комнате перебывало что-нибудь человек двести, мы ведь чуть ли не через день вечера устраивали, все московские «женские» институты объездили, некоторые по нескольку раз (разные факультеты). О нас уже слухи ходили: «Ребята приглашали в университет, а привели в какой-то сарай, и там творилось такое!...»

Не творилось, естественно, ничего – танцевали, играли в полудетские игры, чуть-чуть выпивали иногда... Толку, правда, от этих вечеров не слишком-то много: ну, познакомились, а дальше что? Вот и пример показательный: Ленка.

Черненькая, очень живая, красивая – похожа на Лору Соловьеву. Танцую главным образом с ней, потом провожаю,

беру телефон, дня через три звоню, и мы новой компанией собираемся опять у меня – и опять те же дурацкие игры, танцы.

– Эдька предложил поиграть в платочек! – вдруг говорит Лена и тянет меня за рукав в угол, где сидит, улыбаясь, мой сосед по квартире, брат Валерки Гозенпуда, Эдик. А с ним девушка, Настя. Играть-то нужно вчетвером, потому что у платка, как известно, четыре угла. Платок собирается в горсть, каждый берет за торчащий из горсти уголок, платочек растягивается, и те, кто оказывается по диагонали, целуются, Дурацкая, конечно, игра, детская, но...

– Ну, что ж, давайте, – соглашаюсь я, хотя ни Настю, ни, тем более, Эдика, целовать мне не хочется.

Первый раз выходит целовать Настю – и наш с Настей, и Ленкин с Эдиком поцелуи на самом деле формальность, это ясно. Но как меняется Ленкино лицо, как вспыхивает она, когда наши уголки платка выходят по диагонали!

– Гасите свет скорее! – кричит она и даже руками машет.

Смеясь, ребята свет гасят, я целую ее, она вся дрожит и обнимает меня. Я тоже в пылу: ну, думаю, теперь-то наконец, наконец-то! Ведь она правда нравится мне – не то, что Светка тогда. Свет зажигают, но вскоре опять гасят, уже окончательно, я придвигаю свой стул к Ленкиному, мы теперь совсем рядом. В комнате, правда, все равно почти светло – от фонарей с улицы и от снега, – наши объятия и

*мучительно долгие поцелуи фактически на виду у всех. Впервые у меня такое.*

*– Юрочка... – повторяет она с нежностью. – Мне так хорошо, так хорошо с тобой. А тебе?*

*Потом, когда мы садимся на кровать, она шепчет:*

*– Ты знаешь, что со мной было, когда ты первый раз меня поцеловал! Я просто с ума схожу... Но мне очень стыдно, ведь нас все видят!*

*Она вся дрожит, я верю ей.*

*– Ну и пусть, – отвечаю каким-то хриплым, сдавленным голосом. – Пусть завидуют нам.*

*– Нет, правда не стыдно? Они нам завидуют?*

*Она отстраняется и пытается разглядеть мои глаза в темноте.*

*Голова у меня кружится, я в чаду. А она вся трепещет. Но, Господи, какой-то мрак уже надвигается. Не понимаю почему, но он надвигается. Не знаю, не знаю, что дальше делать, потому что... Потому что – да! – она не дает мне опускать ладони ниже ее пояса сзади и ниже шеи спереди – тотчас ловит руки мои, не пускает. Хотя и дрожит. До сада во мне взмывает, хотя я и борюсь с ней, стараюсь не поддаваться. Но... В чем же дело?!*

*– Мне кажется, ты не с первой девушкой так делаешь, – вдруг говорит она как-то очень трезво и отстраняется от меня и опять пытается разглядеть мои глаза. – Ты завтра же будешь смеяться надо мной, да, Юра? – продолжает она*

*с тревогой, на миг переставая дрожать. – Да, Юра, скажи! Это правда?*

*Она всматривается в мои глаза, она поворачивает мое лицо к отблескам фонарей.*

*– Да ты что, ну нет же, нет, разумеется, нет, – бормочу я и опять целую ее в полуоткрытые губы, хотя она и крепко держит руки мои, не пуская. И что-то произошло уже, что-то нарушилось.*

*Потом танцевали. Темно, звучит музыка. Опять вся дрожжа, Ленка прижимается ко мне и опять я целую ее, теперь в танце. Она поправляет мои волосы, гладит по голове, прижимается лицом к моему лицу, шепчет что-то ласковое – так, чтобы другие не слышали. И опять поцелуи до боли в губах. Но руки... Даже до груди своей она не дает дотронуться, хотя и прижимается своей грудью к моей. «Что же это такое?» – думаю в недоумении и все растущей печали.*

*Когда гости разошлись, мы ложимся с ней на одной кровати – она осталась! Но не раздевается никак. Опять поцелуи, объятия. И опять нельзя моим рукам ниже пояса сзади и ниже шеи спереди.*

*– Я слышу, как бьется твое сердце! – шепчет она тихонько. – Как мне хорошо с тобой, Юрочка. Мне никогда не было так хорошо. Скажи, а тебе хорошо со мной, да? О, мой милый...*

*Никто никогда в жизни не говорил мне таких слов. Но допустимая зона действия для меня по-прежнему весьма огра-*

ничена. Она по-прежнему вздрагивает, прижимается всем телом, а руки мои держит крепко – не устает.

И... вот ведь еще конфуз: так сильно, так неприлично выпирает из брюк мой, очевидно, ненавистный ей, ненавидимый ею, очевидно, сейчас, мой нахальный орган. Он такой большой, напряженный и такой горячий, мне стыдно за него, она ведь старается его не касаться, избегает, и я просто не знаю, что делать. И я боюсь, что вот-вот... Внезапно ведь может произойти такая неуместная сейчас разрядка, этот постыдный пик. Будет мокро, липко, я потеряю силу свою, мне будет перед ней очень стыдно, возникнет апатия, слабость... Это уже мне знакомо. Сдерживаюсь изо всех сил, стараюсь этим местом ее не касаться.

И все явственней спадает, уходит очарование, привычная тоска наступает, хотя она и продолжает прижиматься ко мне и что-то шептать. Не верю. Теперь не верю. Что-то не то. Ложь. Наконец, засыпаем...

Утром провожаю ее до метро. Оба усталые, не выспались. Болит голова. Пустота. Вокруг все бесцветное, неприятное. Жить не хочется. Прощаемся сухо, почти равнодушно. С ужасом думаю, что не люблю ее.

Ну, разумеется, встречались еще несколько раз – по инерции. Ходили куда-то, гуляли по улицам, даже чуть-чуть целовались, кажется, но чисто формально. Ничего подобного тому, что было в первую ночь, не повторялось. Потом она вдруг прямо сказала: «Не возражала бы, если бы ты сделал

*мне предложение». Я просто обалдел от ее слов. Какой же я муж?! И причем тут?... Через несколько дней призналась: какой-то дипломат у нее на прицеле. «Я тебя больше люблю, чем его, но ты же не хочешь».*

*Одним словом, финиш...»*

## Кто сумасшедший?

Да, уже в самой ранней юности я задумывался: почему мы так бездарно, так трусливо и глупо распоряжаемся бесценным даром, что дала нам природа? Почему самая большая забота человека взрослеющего – на какие встать рельсы, как понадежнее укрыться от безграничных возможностей жизни? Впечатление такое, что главная задача – лишить себя радости свободы, закрепить, оглушить, кастрировать. И государство, и все вокруг настойчиво помогают в этом.

Теперь, в университете, этот вопрос встал для меня во весь рост. Я-то думал, что школа закончена, я студент, начались, стало быть, лучшие годы жизни: молодость и некоторая зрелость уже («аттестат зрелости» мы ведь все получили!), острота чувств, свежесть восприятия, возможность открытия тайн бытия! Но что на деле? Тупое сидение в лабораториях и на лекциях, унылое заучивание множества ненужных, неинтересных сведений, бесконечное подчинение – преподавателям, деканату, комсомольской и профсоюзной организациям, ЖЭКу, милиции, огромному числу всевозможных чиновников, знакомых и незнакомых людей. Жить-то когда? А дальше, по окончании института, – опять какая-нибудь организация, предприятие, лаборатория, НИИ, карьера, жена, дети, пенсия, смерть. Рельсы! И что же? Смысл-то какой? Ну, стал «добропорядочным гражданином», отслужил

послушно, детей новых народил – и что? Кому это нужно? Детям? Чтобы и они повторяли все тот же унылый маршрут? Ради чего все?

Революции, войны, борьба за власть... Зачем? Чтобы других заставлять поступать так же, как поступаешь ты – то есть постоянно служить кому-то или чему-то? Чтобы глушить, уничтожать чужую жизнь так же, как ты уничтожаешь свою?

Еще можно остановиться, думал я все чаще и чаще, еще остается выбор. Я пока что студент, еще не отчислили меня из университета, еще остается шанс стать «советским Ломоносовым», как пророчили мне в школе. Наверстать упущенное смогу – я ведь умею учиться, голова работает, слава Богу. Стоит засесть за учебники – и догоню остальных, стану отличником, как в школе, в этом абсолютно уверен. Но – зачем? Ненавижу рельсы!! От меня хотят послушания – и только?! Да, конечно, могу изобрести что-нибудь в области физики – «на благо народа». Но – оставаясь на рельсах. Только! Шаг влево, шаг вправо считается побег... Зачем мне это? Академиком быть? Ну и что? Старым, седым, беспомощным, не видевшим ничего, кроме узких глубин науки своей, увешанным регалиями, которые на самом деле ведь ни что иное, как детские побрякушки... Никто не даст мне работать свободно, отклонившись от рельсов: «гиперболоид инженера Гарина» – это фантазия не от хорошей жизни, и чем она кончилась ясно. Скучно.

Так, может, лучше уйти? Пока не поздно. Пока не ослеп,

не оглох, не привык безоглядно и безропотно подчиняться... Армия, конечно – вот опасность. Загребут тотчас же. Как быть?

– Ну и что ты будешь делать, если уйдешь? – говорит Пашка Васильев, который разделяет мои мысли в принципе, но выхода абсолютно не видит. – Кем станешь? Рыбаком? Охотником, что ли? Кем?

Он смотрит на меня с обычной своей высокомерной усмешкой. Он скептик, он все понимает, но на рельсы становится все равно.

– Писателем буду, – заявляю угрюмо, упрямо, хотя, если честно, не очень-то представляю себе, как это практически.

– И ты думаешь, что сможешь на самом деле писать честные книги? Кто ж их печатать-то будет? Ты что, не видишь, что вокруг делается? Кто ж тебе позволит? Или ты хочешь такую же хреновину сочинять, как «Кавалер Золотой звезды»?

Молчу. Понимаю. Вижу, что делается, начинаю постепенно уже разбираться. Хватает все-таки здравого смысла, чтобы понять.

– Но «Тихий Дон» ведь все-таки... – говорю тихо.

– Ха! – злорадно восклицает Пашка. – «Тихий Дон»! Когда он написан-то, а? И почему он сейчас ничего путного не пишет? Да еще и неизвестно, он ли его написал. Ты о Крюкове ничего не слышал?

Слышал о Крюкове – якобы он на самом деле написал

«Тихий Дон», а Шолохов якобы только лишь обработал рукопись. Но ведь не доказано это. Да и в том ли дело! При чем тут...

– Нет, буду. Все равно буду писателем, – повторяю угрюмо, хотя отчетливо сознаю, что выгляжу если не тупым идиотом, то упрямым ребенком. Или задвинутым параноиком.

– Но ты же ни одного рассказа не написал! – кричит Пашка и смотрит на меня чуть ли не с ненавистью. – Извини, но ты как тупой дурак сейчас одно и то же долдонишь! Ты же неглупый парень как будто бы...

– Написал, – тихо говорю я. – Один рассказ написал, кажется. Я понимаю, что он не так уж, чтобы... Но все-таки. Со временем научусь.

– Покажи, – коротко говорит Пашка.

Я даю ему единственный крошечный рассказ «Чижик». В дневнике писал много, а вот законченный рассказ никак не удавалось соорудить. Детский рассказик, сентиментальный. Но – законченный по крайней мере.

Из дневника:

«...К кому пойти, с кем посоветоваться? Никого нет. Рите и заикаться страшно, она и так считает, что я с пути сбился – карты, компании, девочки, отметки не те, что в школе.

Вспомнил! Учительница психологии в школе, она ведь тогда, в девятом классе, меня из всех выделила, она поймет. Жаль, Сергей Денисович, учитель литературы, умер – уж он-то понял бы точно. Он меня любил, я знаю. И бабушка. Но

ее нет, увы. Ни Славка, с которым делился уже, ни кто-то еще из ребят всерьез моих мыслей не воспринимают. Ни даже Валерка. Считают, что просто не получается у меня с учебой – университет это не школа все-таки, вот я и не справляюсь, – а потому занимаюсь фантазиями. Кто ж из такого прекрасного учебного заведения по своей воле уходит! Да еще такой, как я – сирота... Глупость, понятно.

Она живет близко, на моей же улице, через дом. В учительской школы узнал адрес и телефон. Позвонил. Нина Григорьевна.

– Да-да, приходите, конечно. Сегодня же вечером, если можете, после семи.

На «вы». Студент все-таки. Университета! Как же. Но что ей показать? Ведь попросит же. Не «Чижик» ведь – о птичке – нести, правда? Может, просто сначала поговорить? Она взрослый человек все-таки. И психолог. Может, дневник показать?

«Чижик» – это как я птицу, которая у меня дома жила, предал. А потом мучился. Мы ведь постоянно всех предаем. Потому что слабые и боимся.

Иду, как в церковь. На исповедь.

Убогий старенький дом, убогая квартирка. С настороженностью встречает, смотрит внимательно. Глаза очень большие, гипнотические. Обволакивающие.

– Нина Григорьевна, я... В общем, хочу уходить из университета, с физфака. Решил стать писателем. С армией,

правда, проблема. А к Вам просто так пришел, посоветоваться, вы в школе, помню, говорили, что... Что человек должен прежде всего самому себе следовать. Понимаете, я хотел и писателем, и физиком стать, потому и поступал в МГУ, а теперь...

– Подождите минутку, я сейчас кофе сделаю.

Пошла на кухню, гремит кофейничком, крышкой.

Квартирка так себе. Одиночество чувствуется, тоска, как ни странно. Какое-то разочарование появилось у меня, хотя и не понимаю пока, в чем дело.

– Ну, так и что же? – садится напротив, смотрит внимательно. – А почему уходить? Вы ведь правильно решили – и физиком, и писателем. У нас ведь просто писателям трудно. Настоящим писателям. Так что физика Вам и помогла бы. Вы ведь на третьем курсе уже?

– Да, на третьем. Но... Понимаете, я так и думал сначала, но теперь... Халтурить не могу, надо как следует учиться, по-настоящему, а для этого... Для этого всерьез надо браться. Я ведь в школе отличник был, а тут... Дело не в том, что не мог бы, а просто душа не лежит. Теперь-то и надо выбрать, потому что так дальше нельзя. Или то, или то. Рельсы, понимаете, рельсы. Если физика, то... Совместить вряд ли удастся у нас.

– Какие рельсы?

Понятно: сумбур у меня, словно нарыв прорвался. Не знаю, понимает ли она, но чувствую, что слишком много

нужно сказать, меня распирает, я ее подавляю словоизвержением, а высказал пока что очень мало... Не понимает!

– Давайте вот что, – говорит она, когда я, опомнившись, останавливаюсь. – У вас есть уже что-нибудь написанное? Принесите. Только немного. И потом еще вопрос важный. Если уйдешь, – она вдруг переходит на «ты», – чем же зарабатывать будешь? Ты говоришь, у тебя никого нет, а сестра сама в тяжелом положении. Есть-то надо ведь, правда? Тут хоть стипендия и в будущем перспективы. А так что? Ты, по моему, фотографией занимался? Я помню еще по школе...

– Очень люблю! У меня фотографии кое-какие есть, пейзажи могу принести тоже, если хотите.

Слава Богу, меня хватило на то, чтобы уйти не слишком поздно, освободить от себя, это была ведь первая исповедь, у меня все дрожало внутри.

На следующий день принес пару тетрадей дневника, рассказ «Чижик» все-таки и фотографии: пейзажи, Медвежья-Пустынь, весенний лес – когда один у костра ночевал как-то, рискуя встретиться с «лишенцами» (беглыми из мест заключения, лишенными гражданских прав), которых, как говорили, вокруг в лесу хватало...

Пашка Васильев «Чижик» одобрил в принципе – «за искренность», – но ясно же, что это так, пустяк. Но хоть это, другого пока что нет, пока дневник только.

Завтра-послезавтра можно звонить Нине Григорьевне. Фотографии ей, как будто, и на самом деле понравились.

Да, читал тут еще один свой рассказик, незаконченный, правда, тете своей – тете Грете – и двоюродной сестре Инне. Полный финиш.

– Я Паустовского недавно читала, – растерянно сказала тетя, – ну так ведь у него по-другому, не так, как у тебя. Я прямо не знаю, что и сказать. Не хочется тебя обижать, но...

А у меня такое ощущение, что воздуха не хватает. Может быть, я действительно сумасшедший? Они все нормальные, а сумасшедший именно я?...»

## Финиш

Пойти действительно не к кому. С Ниной Григорьевной в сущности не получилось. Инстинктивно я понимал, что спасти может именно девушка, женщина, родное, близкое существо. Если бы я был мужчиной! Но сейчас преодолеть свое целомудрие невозможно.

О Ленке можно не говорить. Дохлый номер. Появилась еще в последнее время Мира – черненькая, симпатичная, семнадцать лет, знакомая моей соседки. Стройная фигурка, гладко зачесанные длинные волосы – коса до пояса, – магические темные глаза.

Она мне нравится, но – опять же! – как только дошло «до грани», началось ломание, дурацкие ужимки, неискренность, торговля какая-то: «А гарантии дашь?» Какие еще гарантии? Замуж, что ли?

Действительно казалось, что все они какие-то сумасшедшие. Или как Светка, или такие, как Ленка и Мирка – задвинутые.

Еще знакомство: Тамара, продавщица из булочной. Оказалось, что на самом деле Тамара, а вовсе не Наташа, как сказала сначала. Очаровательная и молоденькая совсем – семнадцать. А я сказал, что мне двадцать два зачем-то. Пять лет получается целых! Но она уезжает куда-то на праздники, ничего у меня не выйдет. Опять один. А праздники на носу.

Ноябрьские. Кого же найти?

Попытка тогда была еще вот такая. Написал письмо-челобитную на Дальний Восток, своему далекому, но щедрому родственнику «дяде Проше», который периодически помогал нам с Ритой. Он был крупным хозяйственным работником на каком-то серьезном заводе. Словно отцу родному, я попытался объяснить ему все – и предполагаемый уход из университета, и желание стать писателем, и уверенность свою в будущем, план работы даже на ближайшее время. Все честно, как мог, от души. «Как мужчина мужчине» просил его помочь мне деньгами «на первое время» с обязательством непременно вернуть этот долг с первого же литературного гонорара. Тем более решил написать именно ему, потому что он, как говорила Рита, очень гордился мной, восхищался тем, что я окончил школу с медалью и поступил не куда-нибудь, а в самый что ни на есть МГУ. Уж он-то поймет меня, думал я. И поможет.

Мое письмо вернулось ко мне в моем же конверте. Именно так: оно было вложено в другой конверт и послано обратно. Аллаверды. Чуть позже пришло другое письмо, от его жены, моей тети. Она горько сетовала на то, что я вот, к великому сожалению, сбиваюсь с пути, хотя они так в меня верили. Разумеется, она не принимала всерьез мои «детские мечты о писательстве» и с печалью писала о том, что сама тоже когда-то хотела быть музыкантом, а вот не получилось, потому что повредила руку, жизнь не сложилась и т.д. Логично.

ки в последнем я не увидел совсем: ведь именно потому, что не получилось у нее, нужно бы меня поддержать – вдруг у меня получится? Я же не какой-нибудь охламон, не случайно же был отличником, поступил в университет и т.д. Почему же устраивает людей только то, что совпадает с ходом их мыслей, почему малейшее отклонение они воспринимают как несомненную ересь? И ни о чем не спрашивают, не слушают объяснений. Отвергают и все! Кто же из нас сумасшедший?

Остыв, я подумал, что это даже и хорошо: дядя Проша оставался последней надеждой, а теперь не осталось никакой – и это лучше. Лучше, когда ты один, и рассчитывать не на кого. Свобода! Выплывешь или погибнешь. Честно и без соплей.

# Алексей Козырев

Окуни на прилавке были крупные, мерные – от двухсот до пятисот граммов, некоторые даже больше. Замороженные, скрюченные, облепленные снежной пудрой, они все равно прекрасны: ярко горят грудные алые плавники, топорщится на спине темный колючий гребень, широкие полосы пересекают желтоватое или зеленоватое тело. Они явно наловлены удочкой из проруби – на мормышку или, скорей, на блесну... Хозяин – шумный, подвижный, с густыми белесыми бровями, толстыми обветренными губами и каким-то пухлым, бесформенным носом, явно подвыпивший, – шутил, весело кричал на покупателей, щедро бросал на весы рыбу, словно хотел от нее поскорей отвязаться.

– Надоели вы мне все! Да так берите, с перевесом, не все равно! Я еще наловлю.... Сколько тебе, хозяйка? Вот сюда деньги суйте, в этот карман, без сдачи чтоб. Не действуют у меня руки, видите, дак. Замерзли!

Хозяйки улыбались, брали помногу, он торговал недорого, а я стоял и смотрел.

– Где наловили, хозяин? – спросил я, дождавшись, когда он продал все.

– Дак на Рыбинском море, где же...

Он поднял на меня свои небесного цвета глаза.

– На мормышку? На блесну?

– Дак на блесну же, конечно!

– Отличный окунь, красота, я ведь тоже рыбак, только все здесь, в Подмоскovie, на мормышку все больше.

– Сынка! – вдруг закричал он и вытер толстые губы прямо грязным рукавом полушубка. – Приезжай! Так наловишь, что и не увезешь, дак! Видал, сколько я приволок – сто кило, не меньше, два мешка целых! Дак ведь три дня только сидел и то неполных. Приезжай. Приедешь?

Он смотрел выжидая, искренне, и перед моим внутренним взором открылось: таинственный заснеженный простор, лесной берег, дальняя, глухая деревня... Раннее утро, солнце встает, лунка – окно в волшебный подводный мир... И окуни, окуни клюют один за другим...

– А далеко? – осторожно спросил я.

– Да нет, что ты! Приезжай, дак! С Савеловского, поезд на Весьегонск. До Кобостова доедешь, а там спроси Леху Козырева, меня ведь там каждая собака знает. Деревня Малое-Семино. Хошь, письмо напиши сначала или телеграмму отбей, а хошь со мной завтра. Поедем! Не можешь? Дак в любое время приезжай! И без письма! Сынка! Верно говорю – не прогадаешь! Приедешь?

Похоже, он прилично уже нагрузился, но в то, что говорит правду, верилось абсолютно.

На рынке-то оказался я не случайно: незадолго перед тем с Гаврилычем ездили «на запретку» – большое водохранилище, откуда брали воду в московский водопровод и куда

поэтому милиция не пускала. Но Гаврилыч знал, как выйти в потаенный заливчик из леса... Там я и наловил аж пять килограммов отборного окуня, а потом на рынке и продал – все ж деньги. А потом еще раз ездили с Гаврилычем и – опять больше пяти килограммов...

– Погоди, пойду дак весы сдам, постой тут с вещами, – сказал мой новый знакомый. – Я быстро.

Лихо сграбастал весы, пошел, слегка качаясь, но основательно, широко ставя ноги в разношенных резиновых сапогах, а я стоял и ждал. Вернулся он скоро, широко улыбаясь, утирая опять рукавом толстые губы.

– Приедешь? – спросил уже совсем по-дружески, добро заглядывая мне в глаза. – Приезжай, сынка, вместе дак ловить пойдем. А хошь сейчас со мной к сестре поедем, хошь? Я у сестры тут до завтра. Такси возьмем и до сестры доедем, а?

Выпивши был он крепко, и я решил его проводить. Сели в такси, он объяснил таксисту довольно толково, куда ехать, приехали, поднялись на этаж в квартиру.

Сестра, строгая на вид женщина, встретила нас неприветливо – «Все ж таки нализался дак!» – но разглядев, что я трезвый и поняв, что провожаю его, чуть смягчилась. Поблагодарила даже и сказала, что да, адрес действительно такой: станция Кобостово, деревня Малое-Семино, 15 километров от станции пешком или на попутной подводе. Да, он действительно все сам наловил на блесну. «Но только вот беда:

деньги не на пользу идут, сами видите, слабоват он по этой части...» А он тем временем разделся, ушел в другую комнату и, очевидно, тотчас забыв про меня, завалился спать.

Я оставил свой телефон, просил сестру передать ему, чтоб позвонил. Он и позвонил на другой день утром.

– Дак приезжай обязательно! Хоть завтра, хоть когда. Самое время сейчас – окунь идет, жор у него самый-самый. Станция Кобостово, как сказал, там найдешь, не ошибешься дак – Малое-Семино. Козырев я, Алексей Палыч, так и спросишь. Приезжай, не думай! Приедешь? Писем никаких не надо, так приезжай. Приедешь?

# Возвращение

Неспешное, медленное, ночное движение поезда. Покачивается, поскрипывает вагон, постукивают колеса на стыках. Еду! Еду неизвестно куда, до незнакомой станции с непривычным названием Кобостово (что это может означать?). И – абсолютно свободен. Счастлив! Джек Лондон, дорогой Джек, друг мой далекий, я еду за «мясом», как ты говорил, – мясом жизни, ее вином ароматным, и да поможет мне Бог... Еду к вам, деревья, солнце, снег, рыбы, люди нормальные, деревенские! И ничего не боюсь.

Кроме армии, правда. Но это – осенью. Пока, думаю, никто не тронет, а там придумаем что-нибудь. Пока лучше не думать, пока я счастлив, а там – что будет...

Ушел я из университета – свершилось! – отчислили с третьего курса «по семейным обстоятельствам», потому что экзамены не сдавал. Но на всякий случай осталась возможность восстановиться, если что (армия!...) – и если принесу «положительные характеристики с места работы». Пока же свободен – свободен! – и не нужно трястись от страха перед Верой Ивановной, сдавать зачеты, ловчить на экзаменах, унижаться перед старостой группы, чтобы не отмечал отсутствие, зевать на лекциях, делать умный вид на практических занятиях, молить Бога, чтобы не вызывали на семинарах, чувствовать себя ничтожеством и мучиться вопро-

сом: как же все-таки поступить? А все эти ленки-миры-тамары – катитесь к черту со своими задвижками!!

И вот лежу я на верхней полке, радуюсь, наслаждаюсь счастьем, а поезд едет себе и едет.

Да, это было для меня, как бунт, как революция. Как прыжок с вышки. Двадцать один год от роду – и что же? Студент МГУ. А толку? Железные рельсы блестят зловеще, уходят в даль – мгlistую, мрачную даль. Жить, как все? Так же лгать, подчиняться тупому начальству, делать не то, чего хочет душа, а то, что почему-то кому-то надо? Смиряться с тупостью этих дур, которые тянут в загс и кроме инстинктов самок не имеют ничего за душой? Которые тело свое, это данное Природой сокровище, воспринимают лишь как товар, который хочется подороже продать? Копошиться в навозной куче, словно червяк, а не свободное существо, имеющее столько возможностей...

Нет, хватит. Лучше погибнуть в полете, чем заживо гнить!

Конечно, я еще не умел летать. Конечно, я понятия не имел, как жить честно, весело, правильно.

Но точно знал уже, что не так. Не так, как все они. Которые без конца учат.

...А шел тем временем исторический XX съезд партии, Хрущев только что сделал сенсационный доклад, который пока не опубликован. Но уже сказано вполне официально, что Отец Всех Народов это не такой уж и отец, и был при нем, оказывается, «культ личности», и миллионы граждан сиде-

ли, оказывается, в лагерях не всегда справедливо, и грядут в государстве нашем, как будто бы, великие перемены. Которые называются так: «возвращение Ленинских норм». И уже выступил на Съезде первый наш писатель Шолохов и показавши решительно заявил, что поставил бы к стенке двух «писателей-отщепенцев», Синявского и Даниэля, опубликовавших на Западе свои «пасквильные сочинения». Никто из моих знакомых их пока не читал, слышал я только, что там, якобы, что-то о Пушкине. Литературная общественность забурлила, а в журнале «Новый мир» вышла статья некоего Померанцева – «Об искренности в литературе». Порадовало это, последнее, очень порадовало. Какой же смысл писать неискренне? Никакого!

И вышел я утром на белой от чистейшего снега, пустынной солнечной станции «Кобостово». Слепительный, морозный простор! Вот же она, настоящая жизнь, Господи!

Но у кого спросить об Алексее Козыреве? Ни одной собаки поблизости, которые, по его словам, все, как одна, знают его. Но – сориентировался и вышел к ближайшей деревне, где и показали прямую дорогу на Малое-Семино.

15 километров по холодку – не расстояние для парня, начитавшегося Джека Лондона. И часа через три я уже входил в избу Алексея Павловича Козырева.

Интересно – все. Я словно вновь открываю мир. Изба впустила меня в себя и приласкала. Она была небольшая, старая, но вполне уютная, чистая: доски пола вымыты, хотя в

щелях между ними и чернеет застарелая грязь, как замазка. Темные иконы в углу, лампадка, под ними на маленьком столике книги: «Счастье» Павленко, «Рассказы» Кожевникова, толстый зеленый том избранных новелл Мопассана и фундаментальная, в черном переплете тяжеленная Библия... Жена Алексея, Валентина Александровна – миловидная, но молчаливая, постоянно чем-то недовольная, невысокая – с тонкими, капризно поджатыми губами. И – неожиданно! – две совершенно очаровательные дочки: золотоволосые, голубоглазые, кудрявые, пухленькие, как ангелочки. Совсем не деревенские, как кажется мне, словно прилетевшие с неба. Чистенькие, беленькие. Старшей, Томке, восемь, младшей (забыл, как звали) – шесть. В старшую я тотчас же и влюбился (ну словно цветок бальзамина на широком подоконнике в моей комнате в военные мрачные годы...). «Счастливая, невозвратимая пора – детство...» Я смотрел на Томку, и у меня слезы стояли в глазах: куда делось все это в суетливом, изгаженном, лживом городе?...

С Алексеем выходим на другой день рано утром – с восходом солнца. До «морья» (большого Рыбинского водохранилища) – километра два. И утро первое – это воплощение счастливого сна. Все – ново, воздух и снег чистейшие, даже кружится голова с непривычки: бескрайнее ослепительное пространство. И уже встает пока еще розовое новое огромное солнце...

Я – вернулся! Да, жалко, конечно, былых надежд – я ведь

с таким захватывающим, трепещущим интересом читал перед поступлением в Университет «Живи с молнией» Эптона Синклера, я так мечтал путешествовать в глубинах материи, исследовать магию микрочастиц, блаженствовать в настоящем, сущем, природном мире... Лаборатория... Осциллографы, масспектрометры... Спектроскопы... Счетчики Гейгера... Полупроводники... Таинственный мир, полный загадок... Герои книги – Сабина и Эрик – стали близкими мне людьми, в их отношениях я тоже видел естественную, влекущую тайну – там не было лжи... Конечно, я и себя видел исследователем микро-частиц, ученым, открывателем таинственных миров, путешественником в глубины материи. Увы. Это невозможно у нас. Все – отравлено. Тайны материи – ничто перед тупым чванством чиновников, вездесущим сапогом ВЛАСТИ. Самое угнетающее – люди покорно подчиняются всему этому. Даже Пашка Васильев. Какой смысл погружаться в глубины? Да и не позволят. Заставят делать то, что нужно ИМ – для того, чтобы уничтожать других людей, для того, чтобы совсем одуреть от власти. Имбецилы! А девушки? А тайна одного из самых щедрых даров Природы? Нет, этого у нас не существует вообще. То есть «не должно» существовать. А – вот вам, подлые, лживые учителя! Ненавижу предателей! Сами не жили – и нас хотите лишить высшей из радостей? Не выйдет! Все сделаю, чтобы жить! Жить не так, как вы считаете должным, а так, как считаю я. Подавитесь!

И весь этот – первый! – день на Рыбинском море стал для меня возвращением. В жизнь, в природу, в чистоту, в радость. Потом был второй день и третий, потом я вернулся в Москву и продал рыбу на рынке, чтобы «оправдать» свою поездку, потому что денег-то брать было совсем-совсем не откуда. Оправдал. И даже кое-какие деньги остались.

Потом поехал еще, взяв с собой и Пашку Васильева. Который, кстати, как я считаю, многое понимал. И даже пытался писать рассказы. Но уходить из Университета он все же не стал.

А четвертая поездка на Рыбинское море стала для меня и вовсе событием историческим.

## Самый длинный день

*«Когда мне будет лет 40, я женюсь. У меня будет много детей. И вот в один из зимних долгих вечеров я сяду у печки (еще лучше – у камина), соберу детей вокруг себя и расскажу им, какие испытания выдержал их отец под городом Щербак-ковым, который раньше (и потом) назывался Рыбинск. Если они не зарыдают, я повторю свой рассказ. Если они опять не зарыдают – я выгоню их из дома!»*

Вот так писал я о том дне в своем дневнике месяца через три, подражая лучшему своему другу – Джеку Лондону.

День 21-е апреля так и остался в моей памяти как один из самых трудных – но прекрасных! – дней той моей жизни. Хотя целиком о нем, а точнее – о полутора днях 21-22 апреля – рассказывать детям, может быть и не стоит. Почему – вскоре станет понятным. Рассказы же моим друзьям обоего пола об этом дне, как правило, вызвали реакцию вполне адекватную, почему я и решил написать о нем здесь. Златокудрая Афродита все же была со мной, думаю. Хотя ей наверняка сопутствовал и солнечный Аполлон...

Белый простор Рыбинского моря. Деревня Легково на высоком его берегу – несколько километров от Малого-Семина. Темносинее небо, ослепительное лучистое солнце. Апрельская теплынь. Снег мокрый, но совершенно белый, сахарный. Только дорога разъезжена – зеленовато-желтые

грязные колеи со следами тракторных гусениц и бурыми плюшками лошадиного помета. Пахнет свежестью, талым снегом и чуть-чуть навозом. Тела не ощущаешь, оно растворяется в этом разгуле воздуха, света, легкого весеннего ветра.

Приехав, я тотчас понял, что для ловли остались считанные дни, рыба испортится в этом неудержимо надвигающемся тепле, впереди – ошеломляюще прекрасное время свободы, и препятствие только одно: очень малое количество денег сейчас и огромный московский долг. Значит, рыбу нужно купить на те деньги, что у меня остались. Чтобы потом продать. И сделать это нужно как можно быстрее.

Удалось получить еще немного денег за фотографии деревенской свадьбы, что я ухитрился сделать в прошлую поездку и, истратив все, кроме нужных на обратный билет, я купил целых 65 килограммов – леща, судака. И договорился с трактористом, что захватит меня завтра и довезет до самого Щербакова, где и погружусь на московский поезд. Трактор будет стоять в четыре утра у правления Рыбзавода. Нужно осторожно, чтобы никто не видел, положить в прицеп мешки с рыбой. А потом потихоньку и незаметно подсесть в кабину к трактористу, когда он, погрузив в прицеп какие-то вещи, поедет в Щербаков.

Конспирация необходима потому, что с покупателями рыбы серьезно боролись. Бизнес выгодный – покупали у рыбаков Рыбзавода по полтиннику за килограмм, а в Москве

продавали по два, три, а то и по четыре, даже по пять рублей, если хороший судак. Называлось это спекуляцией, к тому же и «подрывом государственной рыбодобычи», потому что Рыбзавод из-за таких покупателей не выполнял план. На ноги была поднята местная милиция, и здесь, и в Щербакове перекупщиков ловили, отбирали рыбу и судили за спекуляцию. Так что я, конечно же, рисковал, отчасти рисковал и тракторист, но, во-первых, я ему заплатил, а во-вторых, потому и должен был незаметно положить мешки в прицеп и незаметно потом подсесть в кабину: мол, тракторист, ничего и не знал.

Бегая по рыбакам (некоторые меня уже знали и считали за своего, чем я, конечно, гордился), покупая рыбу «с миру по нитке», я допустил серьезную ошибку. Купить рыбу было нелегко – рыбаки боялись, – но время поджимало, и я в поздних сумерках увидел подводу, на которой рыбаки возвращались с моря. Недолго думая, попросту, я обратился к ним с вопросом:

– Рыбки не продадите, мужики?

Ответом мне было ледяное молчание. Я не придавал ему особенного значения и только потом – в следующую поездку – узнал, что с рыбаками на подводе ехал аж сам директор Рыбзавода, который тотчас же и решил, что я один из так ненавистных ему спекулянтов. Как выяснилось тоже после, он навел обо мне справки, и если бы я на следующий день ранним утром не уехал, то мог бы серьезнейшим обра-

зом погореть: утром в избу к бабе-Ане, у которой я останавливался, нагрянул он сам вместе с местным милиционером, чтобы конфисковать купленную все же мною рыбу и забрать меня...

Итак, 65 килограммов я все же набрал, что составило два мешка (30 и 35, у меня был безмен, я знал точно), их и нужно было дотащить утром до трактора – а это от избы бабы-Ани километра два с половиной. И тогда тот рыбак, у которого я рыбу покупал последним, предложил остаться на ночь у него, перетащив мешки к нему: от него до Рыбзавода ближе на полкилометра. Что я с благодарностью и сделал. Кроме двух мешков с рыбой, был у меня обычный рюкзак с рыболовными принадлежностями, маленьким чемоданчиком, запасной одеждой, фотоаппаратом, коловоротом для сверления лунок... В общей сложности килограммов 75. Дородностью сложения я не отличался – рост 172, вес 67, – но энтузиазм был настолько велик, что тяжесть груза меня особенно не смущала, хотя и сам Бумагин, у которого я остался ночевать, и его жена и сын головами качали, глядя на мой багаж.

– Ну, ничего, за два раза оттащишь, – сказал старший Бумагин, – а в Щербакове тракторист подсобит.

Мои метания в поисках рыбы закончились поздно ночью, удалось лечь спать лишь во втором часу. А разбудили в три.

Полтора километра расстояние небольшое, но дорога плохая – выйдя на минуту из избы, я удостоверился, что за ночь не подморозило и придется идти по мокрому снегу да к тому

же и напрямик, без дороги, а в одном месте на пути овражек, глубокий снег и ручей. Могу и не успеть, если за два-то раза. Связав оба мешка наперевязь с помощью Бумагина, взвалил их на плечо, предварительно надев рюкзак и решив тащить все сразу. Потихоньку, но зато в один прием. Вперед! Смок Белью у Джека Лондона и не такое таскал – вспомнить хотя бы перевал Чилкут...

Однако по мере движения меня начало перекашивать: 65 кг на одном плече – это слишком. Лучше, может быть, даже 120 да ровно, подумал я.

С каждым шагом становилось все тяжелее, а тут еще глубокий мокрый снег под ногами, пот начал заливать глаза. Дотащившись кое-как до овражка – позвоночник мой изогнулся серпом, – я понял, что перебраться через глубокий снег и ручей с полным грузом мне не удастся, да и время уже поджимает – тракторист ждать не будет, решит, что я передумал, и что я тогда буду делать?

Быстро приняв решение, я скинул свой груз прямо в снег, разрезал веревку, скрепляющую оба мешка, вскинул один из них на спину и почти бегом рванул через овраг. Снег был почти до верху сапог, но ручей, слава Богу, удалось форсировать, не зачерпнув. На другой стороне уже не снег, а песок, все-таки лучше – быстрее, быстрее сквозь редкие сосенки! В утренних сумерках увидел правление Рыбзавода, трактор с прицепом, никого нет рядом, слава Богу. Положил быстренько мешок в прицеп, хотел кинуть туда же и рюкзак, но в

последний момент передумал – мало ли! – и бегом ринулся за вторым мешком. Взвалив его на плечо и перебираясь через овраг, услышал вдруг тарахтенье мотора. Трактор! Тревога мгновенно плеснулась во мне – не может быть! что же он раньше времени-то?! – но потом я подумал, что, видимо, он только разогревает мотор, к тому же увидит мой мешок и поймет. Тем не менее, сердце забилося молотом – уедет, иди потом, доказывай! – я рванул по глубокому снегу с тяжелым мокрым мешком за плечами, перешлёпал ручей, естественно, зачерпнув и воды, и снега, и на последнем дыхании побежал по песку сквозь сосны, с ужасом отметив вдруг, что трактор тарахтит как будто бы уже не на одном месте, а – движется! Точно, он двигался по дороге влево, как и положено – на Щербаков! Я даже увидел его в серых сумерках вдалеке, бросил мешок, побежал ему наперерез и закричал. Но где там. Трактор ушел. С моим мешком, в котором была самая отборная рыба – судак.

А я остался с другим мешком, более тяжелым, но менее качественным – лещ главным образом. И без трактора. А до ближайшей станции отсюда около восемнадцати километров по никудышной дороге с развоями и разливами – на лошадях сейчас не ездят, только на тракторах. И оставшаяся рыба наверняка испортится, если не уеду сегодня в Москву: день, судя по всему, будет очень теплым. Поезд же ходит один раз в сутки, из Щербакова в десять утра с чем-то.

В первый момент опустились руки. От обиды, естествен-

но, защищало глаза: как же он так мог? Но потом решение вот какое: оставляю только 20 кг, кладу в рюкзак и чемоданчик, который ведь у меня на полозьях. Сейчас только четыре утра, времени хватит. Даже если по три километра в час из-за ужасной дороги – все равно буду на станции около десяти, времени хватит. А сначала все же вернусь к Бумагиным, оставлю лишнюю рыбу и... Может, чаем напоят на дорожку. И – вперед!

Вернулся. Напоили чаем, поругали тракториста.

– Небось, со вчерашнего не протрезвел, – констатировал старший Бумагин.

– Вот что, – сказал он, подумав. – Бери мои санки, у меня хорошие сани, большие, клади свой мешок и – вперед, в Переборы, через море. До Кобостова ты все равно не дойдешь никак – там на полдороги разлив, трактора там и то не ходят, Сашка-то на своем тракторе другой дорогой поедет, в Переборы тоже, а это ой-ой сколько. По морю ты как по полу пойдешь, снег-то со льда весь сошел, тут километров 20, ну 25, не больше. К поезду и поспеешь. Давай, чай пей и быстро вперед. А санки вот по этому адресу оставишь, я тебе напишу. Там мой друг живет, скажешь, что я на днях приду, заберу. Направление по солнцу держи, не ошибешься.

И радость тотчас взвилась во мне... От души поблагодарив этих добрых людей, я спустился по крутому грязному склону берега на чистый лед, перебравшись предварительно через довольно широкую береговую закраину, тщательно

увязал свой груз и легко зашагал вперед, а в спину мне светило встающее солнце и уже ласково грели его лучи... Вот он, мой перевал через Чилкут!

Да, спасла же вот меня судьба и от директора с милиционером, и от весьма рискованного пути по воде и по грязи с тяжелым грузом – думаю теперь с благодарностью. Подтвердилась оккультная добрая истина: помощь приходит в самый последний момент. Если, конечно, ты этой помощи достоин... И шагал я с радостью, действительно как на крыльях – и вокруг было просто невысказанное великолепие: огромное голубое небо, ошеломляющее весеннее солнце, берег вдалеке справа. А позади, слева и впереди – бескрайняя плоская поверхность льда, серовато-голубоватая, кое-где, правда, еще покрытая снегом и настом, который под моими сапогами и полозьями санок проваливался... Иногда на пути встречались островки глубокого снежного месива... Но все равно трудно припомнить, когда еще в жизни до этого момента я был так счастлив: Джек Лондон, дорогой Джек, я постараюсь быть достойным тебя, нашей давней дружбы!...

Несмотря на оставшийся кое-где снег, шагал я довольно быстро, но вот на пути откуда ни возьмись, как говорится в сказках, появилось уже препятствие посерьезней: с далекого берега неся светложелтый бурный поток талой воды. Целая река! Времени было в обрез – неизвестно, какие еще сюрпризы ждут меня по дороге (лед, как оказалось, далеко не «пол»)! Обходить поток просто невысказанно – долго! Но и

переходить вброд рискованно: вдруг лед под ним не выдержит? Скорей всего даже – не выдержит: вода несет, словно в горной реке. Провалишься и... С концами! Не говоря уже о такой мелочи, что даже и не проваливаясь можно в сапоги зачерпнуть. Поскользнуться можно в воде. Сани поток может подхватить и... Что же делать?

С минуту я простоял, решаясь. С тоской посмотрел влево, по течению Желтой реки. Бесполезно. Километра два-три обходить, да и то неизвестно, что там. Не исключено, что там вообще промоина. Что делать? И я... решился.

Поток сносил сани, было скользко очень, я едва держался. Но ледяное дно, слава Тебе, Господи, выдержало. Не поскользнулся, устоял на ногах! Не провалился и даже не зачерпнул. Пронесло...

Потому и запомнил на всю жизнь тот «самый длинный день», что, думаю, ангел-хранитель мой не покидал меня ни на миг – хотя и подвергли меня тогда испытанию...

Но на поезд все-таки опоздал. Пока преодолевал препятствия, пока искал потом, где вылезти на крутой берег с санями, на которых было, как ни как, килограммов 40 с лишним, – а берег высотой с большой дом да обледеневший, скользкий – и лед, и снег, и грязь! – а потом искал еще по адресу дом друга Бумагина... Дом нашел, но на мой стук никто не откликнулся. Однако к стене снаружи было прислонено несколько санок. Я прислонил свои и написал записку... Потом тащился с мешком и рюкзаком на вокзал – он был

далеко, пришлось ехать на автобусе, постоянно оглядываясь, опасаясь милиционеров – по моему мешку сразу можно было понять, что в нем. Плечи ныли невыносимо... Дотащился до вокзала благополучно, но мой поезд, увы, ушел. Следующий только завтра в это же время. Есть какой-то проходной среди ночи, как мне сказали, но с таким мешком не посадят ни за что. Какая-то женщина посоветовала, что лучше мне спрятать мешок с глаз подальше – милиция увидит, горя не оберешься. Мало, что отберут, еще и посадят. Спекулянтов много развелось, и милиция злая.

В вокзальной камере хранения приемщица даже руками замахала:

– Ты что?! Рыбу?! У нас тут вчера двое сдавали, дак милиционеры зажучили. Женщина дак убежала, а мужика скрутили, все отобрали, в кутузку повели. Иди спрячь где-нибудь, пока милиция не видала... Я тебя не видела и не знаю...

Да, однако, подумал я. Не Чилкут получается, а «тысяча дюжин». У того яйца протухли, а у меня, похоже, рыба закиснет. Что делать-то?

Первое, что придумал. – запихнул мешок под вокзальную лавку. И сел в мрачном раздумье. Одно хорошо: аромата пока не ощущалось. Да, но поезд будет только завтра, а в Москве окажусь послезавтра. Теплынь... Можно, конечно, бросить мешок к чертовой матери и уехать ночью на проходном. Но тогда... Во-первых, все лишается смысла. А во-вторых... Убыток от поездки составит 180 рублей. Где их взять?

А ведь я соседям должен. Три сотни с лишним...

– Вы не знаете, есть тут какая-нибудь гостиница, что ли? – спросил я у соседки по лавке.

– Дом крестьянина есть, дак.

– Далеко?

– На автобусе остановки три.

– Оставлю мешок под лавкой, ладно? Пойду, посмотрю, как и что.

– Дак оставляй, чего ж. Только милиция если...

– Я быстро.

Вышел на волю. Есть хотелось ужасно, голова кружилась от голода. На другой стороне площади увидел забегаловку. Чуть-чуть денег еще осталось. Взял кружку пива и несколько пирожков с мясом. С пирожками и глотками восхитительно вкусного пива жизнь возвращалась в изможденное тело. В голове прояснялось. Внезапно я осознал очередную прелесть момента: никто не указывает мне, что нужно делать, как жить, я сам все решаю, сдаю экзамены не какому-нибудь дохлому доценту, «общественнику» или Ольховскому (который так любил издеваться на зачетах, экзаменах), а самому себе! Или кому-то, кто действительно имеет право принять у меня экзамен. Да еще по тем дисциплинам, которые мне на самом деле нужны. И даже милиция не пугает меня! Она существует как данность, как мороз или дождь, как нежеланная оттепель, как распутица или холодный ветер, не больше. От нее можно защититься – например, спрятать мешок

с рыбой под лавку, – а потому мы вроде как бы и на равных. Честная борьба! Да, у меня ни хрена нет денег, но зарабатываю, зарабатываю! Я – свободный человек, мне не нужно, мучаясь, переписывать дурацкий, никому не нужный конспект, не нужно делать умный вид перед экзаменатором, не нужно придуриваться перед садисткой-англичанкой (она почему-то невзлюбила меня и придиралась на каждом слове), трястись над тем, чтобы поставили закорючку в зачетке, стараться, не попадаться на глаза Вере Ивановне, подхалимничать перед старостой, чтобы отметил присутствие на лекции, не нужно лгать, лгать, лгать. Господи, да это ведь и есть счастье! Я судорожно и счастливо вздохнул. Как ребенок.

За соседним столиком стояли два парня. Наверное, у меня был какой-то особенный вид, потому что один из них подмигнул мне и сказал другому так, чтобы я слышал:

– Свой парень, видно сразу.

Этот другой был тот еще фрукт – кривой на один глаз, со шрамом на щеке, со свирепым, остановившимся взглядом здорового глаза. Первый же – довольно интеллигентный на вид, хотя явно «блатной», с умным улыбочивым лицом, лет двадцати пяти. Он взял свою кружку с пивом и подошел к моему столу:

– Можно?

– Пожалуйста.

– Откуда, друг? – он смотрел на меня с улыбочивым прищуром, оценивая.

– Из Москвы. Проездом, – коротко ответил я, жуя очередной пирожок и наслаждаясь пивом.

– Завтра едешь?

– Ага.

– Пойдем вечером с нами, хочешь? Дело есть. Заработаем хорошо.

Он смотрел на меня улыбаясь. Не сказать, чтобы глаза у него были добрые, но почему-то чувствовал я, что опасности нет, его симпатия и приглашение искренние.

– Спасибо, друг, – сказал я. – Не могу. Устал сегодня. Да и вечером меня ждут. С удовольствием бы, да не могу. Спасибо.

Еще раз внимательно посмотрев мне в глаза, он вздохнул, перестал улыбаться и просто сказал:

– Жаль. Мы бы с тобой сработались, думаю. Жаль.

Наклонился ко мне и тихонько добавил, слегка кивнув в сторону своего приятеля:

– Тюфяк. Не тянет. Может, передумаешь?

– Нет, друг, извини. Правда не могу. Спасибо.

– Ну, ладно. Надумаешь, приходи. Вечером в десять я здесь буду. Давай.

– Будь здоров.

Это потрясающе – меня приняли за своего! Я едва дыхание перевел от восторга. Что хотите думайте, но я задохнулся от гордости. Занюханый студент МГУ, бывший школьный отличник, сиротка целомудренный, закомплексованный

хмырь вызвал доверие у бывшего жулика! В том, что он бывалый, сомнения у меня не было. И ведь, заметьте, он не оскорблял меня, не запугивал, не пытался облапошить – он говорил как с равным и с уважением предложил «дело»! Это, я вам скажу, не пошлая закорючка в зачетке!

Я вышел из пивной радостный, гордый и сел на лавку возле вокзала. Может, оставить мешок под лавкой до утра? Поезда проходят, люди меняются. Кому грязный мокрый мешок нужен? Правда, тепло, вот что плохо. Протухнет все до утра. А если в Доме крестьянина конфискуют? Да меня еще загребут... Пойду-ка посмотрю, на месте ли.

Тетки на лавке не было. Мешок на месте. Неподалеку появился милиционер. Я сидел спокойно. Страж прошел мимо...

У входа в вокзал остановилась машина. Пикап с маленьким кузовом. Шофер – мужик лет тридцати. Я подошел:

– До Дома крестьянина не подкинешь, друг? С мешком.

Внимательно посмотрел на меня:

– Большой мешок?

– Не. Маленький.

– Рыба, что ли?

– Честно – да.

– Ну, ладно, давай. Осторожно только, смотри.

Я быстро вошел в вокзал, но неподалеку от моей лавки стояли два милиционера. Сел не рядом с мешком, а сбоку. Милиционеры не уходили. Пришлось выйти, подойти к му-

жику в пикапе.

– Слушай, друг, там милиционеры стоят. Подождешь чуть-чуть, ладно?

Опять посмотрел внимательно, улыбнулся:

– Подожду, ладно. Не торопись.

Минут двадцать я выжидал, когда отойдут стражи порядка. Наконец, скрылись. Мгновенно выволок из-под лавки мешок, взвалил на плечо. Слава Богу, мужик оказался порядочным – ждал.

– Давай в кузов. Вот этой ветошкой прикрой. Садись в кабину, поехали. В Дом крестьянина, говоришь? Откуда сам-то?

Ну, в общем, на этом мытарства мои кончились. Хозяйка в Доме крестьянина без звука открыла кладовку, и я положил мешок на пол, в уголок. Вытащил из рюкзака мыло, полотенце, зубной порошок и щетку, еще какие-то мелочи, а рюкзак оставил.

– Вы завтра утром в Хозяйственный сходите, тут рядом. Там мешки бумажные продают, толстые, в них и переложите. И милиция не придерется. Поняли? А сейчас идите к теткам, которые мороженое продают, сухого льда у них попросите. Несколько кусков в мешок и положите.

– Огромное вам спасибо, – сказал я растроганно. Мне ведь и в голову не пришло, а ведь верно! Спасибо!

Ну есть же хорошие люди в Стране Советов!

Шофер пикапа тоже решил взять койку – человек, кото-

рого он должен встретить с машиной, приедет ночным поездом, а пока можно и отдохнуть. С меня он за машину денег не взял. Сухой лед я достал, в мешок сунул. Шофер лег на соседнюю койку, рассказал, что наконец-то добился реабилитации – отсидел в заключении несколько лет как сын «врага народа». Показал с гордостью справку. У меня неудержимо слипались глаза, хотя было еще только восемь вечера. Я отключился.

Проснулся оттого, что в глаза настойчиво било солнце. Мгновенно взглянул на часы: восемь! Проспал без снов ровно двенадцать часов. До поезда еще три с чем-то. Потянувшись, ощутил, что тело переполняет блаженство: здоровый сон восстановил силы, только спина, плечи, мышцы рук побаливали. Но это хорошая боль, спортивная. На простыне, пододеяльнике, наволочке светились пятна солнца. Я еще раз с удовольствием потянулся и повернулся на правый бок. Левая койка, которую вчера занял шофер пикапа, была пуста, а на правой лежал полный черноволосый смуглый мужчина – он показался мне похожим на турка – и с легкой улыбкой доброжелательно смотрел на меня. Машинально я кивнул в знак приветствия.

Он кивнул в ответ, улыбнулся шире и, показав глазами куда-то в середину моей койки, сказал негромко:

– Всю ночь стоял у тебя.

– Что-что? – не понял я.

– Всю ночь, говорю, стоял. Хороший.

Я глянул по направлению его взгляда и тут только понял. Хмыкнул не без гордости и еще раз потянулся. Что это он на такие вещи внимание обращает?

Хотя и на самом деле мой достаточно уважаемый, до сих пор так и не нашедший достойного применения неприкаянный орган вел себя мужественно: он не терял надежды. Особенно по утрам.

Сосед смотрел с интересом растущим, выражение его лица показалось мне чуть ли не детским.

– Два с половиной кулака будет? – спросил он вдруг с веселой непосредственностью и опять доброжелательно улыбнулся.

Я слегка смутился, но взгляд соседа был действительно почти детским и вовсе не агрессивным.

– Не знаю, – пожал я плечами. – Не мерил.

– Послушай, – продолжил он вдруг энергичным шепотом и даже на локте приподнялся. – Вчера вечером в туалет захожу, а мне мужик один предлагает: спусти, говорит, мне, я тебе сто рублей дам.

Я опять не сразу понял, о чем он, а догадавшись наконец, спросил из вежливости:

– Ну, а вы что же? Согласились?

– Да я как-то... А надо было, правда? Чего, подумаешь! Трудно что ли. А зато сто рублей. Правда ведь?

– Не знаю, – сказал я, пожав плечами. Но машинально подумал: ничего себе – сто рублей!

Коек десять стояло в комнате. Только на одной из них, самой дальней от нас, кто-то спал.

– А ты... – продолжал тем же шепотом мой сосед. – Ты согласился бы?

Он смотрел все так же, по-детски, но теперь и слегка смущенно.

Любопытно, подумал я.

О таких вещах я, разумеется, слышал и не раз, это вызывало у меня брезгливость, граничащую с отвращением, но было интересно: что они делают? Я не мог представить себе, что общение мужчины с женщиной может быть хоть кому-то приятно, но все же, все же интересно: а что, что именно они делают? В задницу? А то куда же? Неужели это действительно может кому-то понравиться? Бр-р! Я еще мог представить себе, что в женскую попку, и то... Но в мужскую... Нет, увольте. В бане, к примеру, ко мне частенько привязывались мужики. У нас ведь была коммуналка, без ванной и душа, естественно, и по субботам мы аккуратно ходили в баню. Начиналось обычно с того, что, мол, давай я тебе спину потру, а ты потом мне... Потом он предлагал – чтобы ему удобней было тереть – лечь на банную цементную лавку (предварительно, конечно, тщательно обливал ее горячей водой), а затем сначала действительно тщательно тер мыльной мочалкой мою спину, плечи, но потом обязательно принимался за попку и норовил мыльными руками залезть между ног, чтобы, якобы, помыть как следует и мое «хозяйство». Я в таких

случаях уворачивался, а то и немедленно вставал, благодарил, тер в свою очередь спину ему, делая вид, что ничего не произошло, но, так сказать, однозначно давая понять, что я в таких делах не участник. Мой приятель Миша Дутов рассказывал, что к нему тоже часто привязываются «пидоры», но он, не долго думая, тотчас бьет по морде. А я всегда реагировал спокойно, но твердо, поэтому, может быть, чрезмерной навязчивости с их стороны не возникало. Хотя не раз меня с масляной и какой-то собачьей улыбкой откровенно приглашали «в гости на рюмочку коньяка». Я не обижался: мало ли у кого какие пристрастия. Мне ли судить? Я – не согласен, а хотите вы или нет – ваше дело.

Но любопытство все-таки оставалось: что они делают? Как? Неужели на самом деле общение мужчины с женщиной может доставлять удовольствие? Мужика в сексуальном плане я просто не мог представить. Ну на самом деле: разве может сравниться грубое, волосатое, сплошь да рядом вонючее мужское тело с потрясающе нежным, прекрасным, небесно-чистым женским?

Сосед между тем смотрел на меня, ожидая ответа, на его лице было все то же детское, безобидное выражение, и я, чтобы не обидеть, не стал возмущенно фыркать, а просто слегка пожал плечами и сказал спокойно:

– Вряд ли.

То есть я вряд ли бы согласился кому-то «спустить».

Да и вообще, в конце-то концов, мне бы его заботы, по-

думал я с некоторым уже раздражением. У меня на повестке дня покупка бумажных мешков – раз. Билет до Москвы – два. Потом везти тяжеленные мешки до вокзала – как? Да еще чтобы не попасться на глаза милиционерам... Потом – самое главное – вообще довести рыбу до Москвы, чтобы не протухла, чтобы ее на рынке продать, хоть отчасти с долгом расквитаться. Не до твоих досужих вопросов, короче говоря, мужик! Что ж, пора и вставать, пожалуй...

– А мне... – сказал вдруг сосед, протянув руку и дотронувшись до моего плеча дружески. – Спустишь?

Я офонарел.

– Что? Что вы сказали? – переспросил я совершенно искренне.

– Ну, ты мне... Спустишь? Я тебе сто рублей дам.

Вот оно что. Только тут до меня, наконец, дошло. Я-то думал он просто так, философствует. А он, оказывается... Ну и ну.

Пронеслось в памяти совсем давнее: было мне лет двенадцать, я ехал в трамвае, стоя на задней площадке, и какой-то мужик о чем-то заговорил со мной, а потом осторожно залез ко мне в ширинку – так, чтобы никто не видел – и стал аккуратно, нежно мять мой возбуждившийся росток, это было приятно, и я почему-то его не отталкивал. Он говорил о девочках, дружески, как-то по-отцовски спрашивал, не «пробовал» ли я с девочками и обещал – если я поеду к нему домой – позвать знакомую «хорошую девочку», чтобы я с ней

«попробовал». Я, как дурак, слушал, а потом он осторожно взял мою руку, сунул ее в свой карман, который оказался без дна, и упросил тоже трогать и пожимать его толстый, мягкий и теплый член. Я был в какой-то странной растерянности, помню, мне было его почему-то жалко... Но на авантюру я все же не клюнул: сказал, что мне пора выходить и что на остановке меня ждет отец. Соврал, конечно. Мужик со мной не вышел.

Этот теперь смотрел на меня серьезно и жалобно.

– Ну? Сделаешь? – умоляюще повторил он. – Что тебе стоит? Сто рублей дам, правда.

Он улыбнулся как-то страдальчески и вдруг протянул руку, пытаясь дотронуться до моего все еще возбужденного стержня прямо так, через тонкое одеяло. Естественно, я уклонился. Но агрессии, грубости по-прежнему не было в нем, вот в чем дело, и мне тоже как-то стало жалко его.

– А куда? – вдруг спросил я, думая, что вот сейчас-то мне, может быть, и откроется. Интересно же!

– Ну... – замялся он. – В руку...

И показал раскрытую ладонь.

Интересно... Неужели это на самом деле может представлять удовольствие? Интересно. Молча я покачал головой. Разумеется, отрицательно.

Пора было, однако, вставать. Я натянул брюки, взял мыло, зубную щетку и порошок, полотенце. Направился в туалет.

Сосед тоже поднялся, тоже натянул брюки – он оказался

довольно большого роста, полноватым, но агрессии я, тем не менее, по-прежнему в нем не чувствовал. С небольшой дистанцией он шел следом за мной.

Совершив естественные утренние процедуры, я принялся капитально мыться у раковины, смывая вчерашний пот. сосед вошел следом за мной, тоже посетил одну из укромных кабин, ополоснул лицо, вытер полотенцем и поднял на меня умоляющие карие глаза:

– Ну?... Сделаешь? Я тебя очень прошу...

– Что, действительно в руку? – спросил я вдруг, как-то даже неожиданно для себя. Интересно же!

– Да, да, – засуетился он. И лицо его приняло прежнее, возбужденно-страдальческое выражение.

– И деньги? – спросил я лихо.

– Да, да, конечно, конечно...

А что в конце-то концов? – промелькнуло. Попробовать, что ли? Интересно же! Неужели правда в руку? И только-то? Но, разумеется, только не в... Это исключено абсолютно.

Повторяю, повторяю: я полностью чувствовал себя хозяином положения! Вчерашний день еще пел во мне. Я был – победитель! Неужели правда в руку?... Вот же смех, правда? Почему бы и нет! Ради Бога!

И мы зашли в одну из кабин, тесную, но сравнительно чистую. Он накинул крючок на дверь. И... опустился вдруг передо мной на колени, прямо на каменный пол, лицом ко мне. Дрожащими пальцами расстегнул ширинку моих брюк, осто-

рожно, бережно вытащил мой встрепенувшийся в недоумении орган и... направив себе в рот... ласково охватил губами. Мгновенно обалдев – вот уж не ожидал! – я тотчас машинально положил руку на дверной крючок, придерживая его на всякий случай. Слава Богу, в помещении, кроме нас, никого не было.

А он, не выпуская изо рта мой уже вполне напрягшийся стержень, расстегнул уже и ремень моих брюк, спустил их до колен и, бережно охватив мои ягодицы, стал то прижимать меня к себе, то отталкивать, чтобы мое естество ходило у него во рту так, как если бы это был не рот, а заветное, так вожаделенное мною женское место. Только тут я начал что-то ощущать, и ощущение это, как ни странно, было вполне приятным. Нежно, ласково и тепло... Так же, наверное, и у девушек ТАМ – мгновенно промелькнуло в сознании...

Он остановился на миг, поднял на меня красное, возбужденное лицо и, умоляюще глядя, спросил:

– Спустишь?

– Пожалуйста, – спокойно ответил я, переставая сдерживаться и в очередной раз удивляясь тому, что именно этот момент представляет для него интерес.

Скоро мгновенная приятная судорога пронизала мое тело, а он продолжал водить туда-сюда мои бедра, принимая в себя выплеснутую в несколько приемов густую жидкость.

– Под настроение, да? – спросил он, наконец, поднимаясь с пола.

Я натянул брюки, мы вышли из кабины, он подошел к раковине и стал ополаскивать лицо.

– Деньги, – сказал я, слегка улыбнувшись, но твердо.

– Дам, дам, – тотчас ответил он, улыбнулся тоже, сунул руку в карман и протянул две синие пятерки, которые я, взяв, с сомнением повертел в руках, словно ожидая, что они вот-вот обратятся в две полусотни.

– Больше нет, извини, – пожал он плечами и вышел из туалета.

Легкая досада моя очень скоро сменилась удовлетворением и даже чувством победы: ведь он мог вообще ничего не давать, что бы я сделал-то? А теперь на эту десятку можно очень даже прилично поесть. Да и на бумажные мешки останется. Заработал! Не говоря уже о том, что ведь и узнал кое-что. И не испугался ведь, что ни говорите, так что опять же – чувство победы. Вот интересно, думал я. Оказывается...

Тщательно помывшись, взяв свои вещи из спальни, я вышел на залитую солнцем улицу. Нашел столовую, позавтракал капитально, а потом купил мешки и переложил в них пока еще не протухшую, слава Тебе, Господи, рыбу.

Благополучно купив билет, я вернулся в Дом крестьянина, взял весь свой багаж, словно по-Щучьему веленью добрался до вокзала – почему-то мне даже прохожие помогали, – сел в поезд без приключений, пристроил свои мешки под лавками в плацкартном вагоне и спокойно устроился на своей уютной верхней полке. Казалось, что мне теперь безотказно везет, я

чувствовал себя абсолютно уверенно.

И вот лежу я на своей верхней полке, вагон мягко покачивается, и постукивают колеса. Блаженно засыпаю и вижу во сне незнакомую, но очень милую девушку. Что-то неопределенное, но очень приятное у нас с ней происходит... Чуть-чуть не дошло у меня до блаженной разрядки во сне, чуть-чуть.

Мешки с рыбой я благополучно довез до дома на такси, рыба стала уже пахнуть, но я – по совету многоопытного соседа, Григория Вениаминовича, – вымыл ее под краном холодной водой. А потом отвез на рынок и благополучно продал. С долгом не разделался полностью, но сильно его сократил.

Что же касается того мешка и трактора, который его увез, то тракторист в следующий мой приезд объяснил просто: он моего мешка не видел, а подогнал трактор от Рыбзавода к своему дому, чтобы позавтракать и чем-то еще трактор нагрузить. Забыл, что меня приглашал именно к Рыбзаводу. Не дождавшись меня у своего дома, он решил, что я передумал, и рванул в Щербаков. Там обнаружил мой мешок и понял, что произошло. Но было, разумеется, поздно.

# Чудо

Что-то изменилось во мне после той поездки. Я понял, что многое преодолел. Я не впал в панику, когда ушел трактор. Я рискнул перебраться через желтый поток, и судьба оказалась благосклонной ко мне. Я не испугался и мужика, решив узнать, как это у них происходит. Никакой мистики во всем этом нет – вот что главное! Очевидно, так же просто должно быть и с девушками. Ничего не надо бояться – вот разгадка. Идти вперед, не трусить и быть верным своей природе!

Летом я несколько раз опять ездил в Легково и Малое-Семино и заработал на фотографии достаточно, чтобы разделаться с долгом – после тех, свадебных съемок меня знали, до меня фотографов в здешних деревнях не бывало, и «бизнес» мой шел неплохо. Хотя я вовсе не собирался его здесь развивать. Главное было – научиться писать рассказы и – конечно! конечно! конечно! – преодолеть свое целомудрие. Девушки так прекрасны! Ничто не должно мне мешать стать, наконец, мужчиной!

Но – увы – в августе начали приходить повестки из военкомата. Один мой приятель, отслуживший сначала в армии, а потом угодивший в тюрьму за какой-то проступок, сказал так:

– Армия хуже тюрьмы. Советую: дай кому-нибудь по морде, угодишь в тюрьму на год-полтора. Зато потом свободен.

Да и в тюрьме тебе как писателю будущему побывать не мешает. Армия же – это полный мрак, там тебя чуркой сделают, учти.

В смутном состоянии духа я даже сделал попытку восстановиться в университете. Не получилось. В сентябре с повесткой пришел не почтальон, а милиционер. Он пригрозил, что меня заберут насильно, если я на этот раз сам не явлюсь в военкомат. Что было делать? Все в том же смутном состоянии, словно в бреду, я направился по указанному в повестке адресу. Все-таки у меня плохо со зрением. И грыжа. Вдруг это поможет?

Тут же направили на медкомиссию.

Моя грыжа, естественно, никуда не исчезла, но надежда оказалась липовой – ее вырежут и зашьют в два счета, и я все равно попаду в осенний призыв. Так мне сказал хирург и выписал направление на операцию. Главный козырь остался – глаза. Дело в том, что с детства у меня в одном из них некая «недостаточность», он практически не видит, я даже обращался в лучшую московскую клинику – институт имени Гельмгольца, – и там сказали, что в принципе ничего сделать нельзя. Но справки, которые я, естественно, наводил раньше, не утешали: и с одним глазом загрести могут, признав «годным к нестроевой» и определив каким-нибудь писарем, а то, не дай Бог, и в стройбат.

Так оно и произошло: окулист наскоро проверил глаза и написал: «Годен к нестроевой».

В остальном все было в полном порядке, и оставался последний кабинет: кардиолог. На сердце я никогда не жаловался – бегал, плавал, катался на лыжах, много ходил. Хотя в детстве и находили у меня небольшой шумок, но теперь чувствовал я себя абсолютно в форме. В Университете, кстати, не только занимался «сухим плаванием», но побывал в секциях легкой атлетики и даже бокса, и в обеих тренеры обращали на меня внимание, считая перспективным. Так что я уже расстался с надеждой и медленно осознал: начинается, увы, новый этап моей жизни, несвободный и невеселый. Свободы, похоже, мне все-таки не видать.

И вот вхожу в кардиологический кабинет, вижу средних лет человека в белом халате. Начал он меня прослушивать, прикладывая к моей голой груди коробочку, от которой резиновые трубки к его ушам идут. А сам смотрит на меня как-то очень внимательно. И спрашивает:

– Что же это у вас с университетом произошло? Вы ведь на третьем курсе уже учились, так ведь?

– Так, – говорю. – Но... По семейным обстоятельствам. Трудно было на дневном отделении учиться, стипендия маленькая. А я один, родителей нет никого. Да и не в том только дело, вообще-то.

И тут вдруг меня прорвало. Что терять? Человек искренне спрашивает, с сочувствием. И понес я:

– Писателем хотел стать, – говорю. – Ушел, чтобы науку эту осваивать. В школе, понимаете, на отлично учился, с Зо-

лотой медалью закончил, а в университет поступил потому, что хотел и физиком, и писателем стать одновременно. Но надо выбирать что-то одно, это я понял. А потом... Атмосфера в Университете мне не понравилась, понимаете. Я бы на вечерний или заочный пошел куда-нибудь, чтобы работать можно было и рассказы писать, да теперь уж чего. Теперь армия, ясно, ничего не получится. Все мои планы летят, ну да ладно...

Горько мне было. Как на духу я ему свою горечь выложил. Грустно! Ну, да чего ж теперь.

И вот, граждане, как бывает. Смотрит он на меня все так же внимательно и говорит вдруг:

– Да нет. Нельзя вам в армию. У вас в сердце шумок.

В этот момент в кабинет еще один мужчина в белом халате вошел. Мой доктор о чем-то с ним посоветовался. Я слышал, что они говорят, но в волнении ничего не понял. Одно только в память врезалось: 32-я. Как потом сообразил, это номер статьи.

Оделся я, сел на стул. Смотрю на все обалдевши. А доктор мой, не глядя на меня, старательно что-то в моей медицинской карточке пишет. Потом встает, руку мне протягивает и говорит:

– Спортом заниматься можно. В меру, конечно. Всего доброго! Пишите свои рассказы. Идите.

И руку мне пожимает. И улыбается чуть-чуть, совсем слегка. Честно говоря, у меня даже мурашки по телу пополз-

ли: показалось мне в этот момент, что он на моего отца похож. Я вышел.

Ничего, конечно, было пока не ясно, однако в груди у меня словно огонек вспыхнул. Направили меня еще в какой-то кабинет, выхожу оттуда, жду в коридоре. А потом получаю на руки военный билет. Красенький, правда. Но там написано: «Годеи к нестроевой службе в военное время. Зачислен в запас». Я сначала ничего понять не мог. Но мне объяснили: означало это, что от армии я – по крайней мере на ближайшее время и если не будет войны – освобожден. По 32-й статье. Кардиологической.

Трудно описать, какую радость я тогда испытал. И опять распахнулось передо мной бескрайнее жизненное пространство. Свободен! Боже, какое это счастье – свобода! Неужели? Неужели я могу продолжать ЖИТЬ?

Ну не чудо ли? Господи, дай здоровье и счастье этому доброму человеку! А если его уже нет в этом мире, то пусть ему будет везде хорошо, где бы он ни был!

Но... Мне уже двадцать один. А я пока что не узнал главного. Главного! Я уверен уже тогда был, что это – главное. А значит... «В свободу надо прыгнуть» – так называется роман хорошего писателя. Золотые слова!



# Часть 2. Освобождение

## Дебют

Воскресенье, 12 мая. Погожий вечер в Центральном парке имени А.М.Горького. Мы с закадычным другом детства из подвальной квартиры Славкой, прогуливаемся по аллее и видим двух девушек лет двадцати, сидящих на одной из скамеек.

– Девушки, вы кого-нибудь ждете?

– Мы никого не ждем.

Нет, они ждали. Это меня, наконец, ждала судьба. Она была в простеньком, ситцевом, что ли, платице – тепло ведь, почти летний вечер. Ничего особенного: милая симпатичная девушка, не темленькая и не светленькая – так, что-то среднее. Аккуратная стройная фигурка, лицо приятное, но без особо запоминающихся черт. Тоня.

Было во всем ее облике что-то провинциальное, мягкое и обволакивающее. Сердце привычно заколотилось, в голове застучал барабан, я с трудом управлял механизмами своего тела – сдержанно двигался, улыбался, что-то говорил, шутил.

Мы немного посидели, потом погуляли по аллеям все вчетвером, потом вместе ехали в метро, они к себе домой,

мы со Славкой к себе, и она дала телефон на работу. Тут-то я и узнал ее фамилию: Волкова.

На другой же день позвонил. Встретились после работы – я подъехал туда, где она работала и жила поблизости, снимала «угол» у старушки. Сама она действительно из другого города, не помню какого.

Погода по-настоящему летняя, душно, надвигается гроза. Мы идем по шоссе, потом через мост. Нас догоняют тучи. Кокетничая, она говорит, что дождя не будет.

– Мы же вместе, а поэтому дождь обойдет стороной, правда ведь?

Как-то мгновенно между нами возникла близость. Мягкость, легкая податливость в ней. Она сама берет меня под руку. Бурные процессы во мне кипят.

За мостом начало капать. Взявшись за руки, как дети, мы добежали до каких-то ворот. Дождь чуть крапает и не усиливается. Но молнии уже сверкают, и гроыхает вдали. Сначала заходим в телефонную будку, крошечную тесную будку, в которой стоим совсем-совсем близко. Я чувствую ее тепло и запах то ли крема, то ли духов. Ее дыхание. Ее тело под материей платья. Голова у меня кружится. Дождь так и не начинается по-настоящему, мы выходим из будки и переходим на другую сторону улицы – там маленький бульварчик и пустая скамейка. Подстилаем газету, садимся рядом, плечом к плечу. Молнии сверкают, гром урчит почти непрерывно. Пугаясь этого и смеясь, она все теснее прижимается ко мне.

Наконец, я обнимаю ее. Голова моя – словно пустой железный ящик, по которому кто-то колотит молотом. Кажется, чувствую толчки ее сердца под платьем. Почему-то глаза у меня на мокром месте, хочется плакать, словно ребенку.

Стемнело почти. Сзади сквозь листья тускло светит фонарь, перед нами на асфальте тень – как треугольник: головы наши соединились. Я целую ее наконец и чуть не теряю сознание. От ее губ, от ее дыхания я буквально пьянею. Дождь действительно так и не разошелся, молнии отсверкали и гром затих – гроза ушла, оставила нас в покое. Уже двенадцать, полночь, а она не хочет меня отпускать. Но и ей, и мне на работу завтра. А метро до часу. Без чего-то час приходится расставаться. Мы с трудом отрываемся друг от друга, но все равно я чувствую ее рядом с собой, мы словно слились.

До метро бежал бегом, чуть не сшиб парасет. Уже закрыли дверь вестибюля, но милиционер пропустил меня. Я ехал один в позднем вагоне, но был не один, абсолютно: она была внутри меня, я обнимал, целовал ее, говорил какие-то ласковые слова.

Такое я переживал, пожалуй, впервые.

Эта первая наша встреча была в понедельник. А потом – среда, пятница, воскресенье... В среду встретились у метро, ближе ко мне. Ветер играл ее тоненьким платьицем, облепляя стройные ноги. Немного посидели в сквере. Ничего кроме ее тела, скрытого платьицем, ее волос, губ, ее глаз, ее

сбивчивого дыхания, ее ласковых, нежных слов в мире не было.

– Пойдем ко мне? – сказал я, наконец решившись.

– Пойдем, – согласилась она легко.

После университета, после поездок на Рыбинское море, после чуда на медкомиссии в военкомате изменилось многое в моей жизни. Несколько месяцев уже проработал в «почтовом ящике» – закрытом НИИ, куда «по-блату» устроил отец одного из моих приятелей, директор этого «почтового ящика». Фактически это был завод по производству химического оружия, как я понял в конце концов, хотя лаборатория, в которой я работал старшим лаборантом, занималась вполне безобидным занятием – спектральным анализом хлорфенолов... Еще научился зарабатывать фотографированием детей в детских садах – опыт свадебных и «персональных» съемок на Рыбинском море не прошел даром. Разумеется, продолжал учиться писать рассказы, хотя это удавалось с трудом, потому что эмоции переполняли, и все сводилось в конце концов к откровениям и самоанализу в дневнике. В сущности я пока что проходил «школу жизни» и не считал возможным писать о том, чего не знаю – сочинять что-то «из головы» казалось мне нечестным и никому не нужным. Писатель имеет право делиться только тем, что пережил сам, есть смысл писать лишь о том, о чем не писали раньше, сочинение «просто так» – ради игры, ради пустого словотворчества и уж тем более ради денег – казалось не только нечестным и

никому не нужным, но даже преступным. Для меня хорошая книга всегда была учебником жизни, а в учебниках нельзя врать, это великий грех. Не даром и в Библии сказано, что один из величайших грехов – «сворачивание малых сих». Я Библию тогда еще не читал, но как-то генетически, что ли, был убежден: ничто так не губит жизнь человека, как ложь. Фотографированием в детских садах я не злоупотреблял – зарабатывал ровно столько, сколько нужно на самое необходимое, тем более, что и на писание в дневнике, и на чтение множества книг, на поездки за город, встречи с друзьями, работу в НИИ уходило немало времени. И в комнате у меня пока еще жили двое жильцов – художники. Один из них недавно уехал домой на лето – родом он из Молдавии, – а второй остался. Звали его Арон. Парень неплохой. Даже если он дома, он поймет. И скорее всего сможет уйти куда-нибудь, когда мы с Тоней придем. Хоть ненадолго.

Дома Арона не оказалось, слава Тебе, Господи. Хотя, конечно, он вот-вот может прийти.

Посидели чуть-чуть, поговорили о чем-то. Я опять был как в чаду. Я же понимал, что, возможно, решительный момент наступает. Серьезнейший в моей жизни экзамен. Это вам не Университет.

Я поймал музыку по приемнику – ни магнитофона, ни радиолы у меня пока что не было. Потом начали целоваться. Похоже на страх высоты. Легли на кровать. Не раздеваясь, конечно. Время исчезло, наши поцелуи тянутся бесконечно,

мы сливаемся, что-то происходит в наших разгоряченных организмах, нужно как-то переходить к новому, неизвестному мне. Необходимому, но потому, может быть, и особо пугающему. Как? Я не знаю.

Стемнело совсем. Но вот шаги Арона по коридору и стук в дверь. Встаю, выхожу в коридор, не пуская его.

– Арон, ты знаешь, я... Я не один. Там девушка. Ты не мог бы куда-нибудь?

– Понимаю. Но некуда мне, ты знаешь. Поздно уже, да и кисти надо помыть, а то засохнут кисти до завтра. Ты вот что, скажи ей, что я войду потихоньку и лягу. Вы свет не зажигайте, вот и все. Усну быстро, устал сегодня. Только ты сначала кисти вынеси и скипидар.

Нахожу в полумраке комнаты кисти, бутылку, банку, выношу ему, пока она молча, настороженно ждет. Возвращаюсь.

– Послушай, ему некуда пойти. Он войдет и ляжет, не зажигая света, ладно? Ты не бойся, он хороший парень, свой. Он скоро уснет, он устал.

– Ладно...

Она согласилась легко, я не ожидал. Сердце колотится сумасшедше.

Во мраке он вошел, разобрал постель, стал раздеваться. Когда снимал брюки, с грохотом на пол посыпалась мелочь, мы вздрогнули испуганно оба. Она засмеялась тихонько.

Не спали почти всю ночь. Целовались, обнимались. И

только. Изредка, в перерывах дремали. В отличие от Ленки она позволила касаться ее груди. Но не ниже. Да я и не решился ниже. Ни платья, ни чего другого из белья она так и не сняла. Мы лежали тесно, мы целовались без счета, но я опять почувствовал что-то не то. Что-то замедлилось. Мы словно взлетали, а потом внезапно *остановились*. И начали падать.

Ей позже на работу, чем мне, поэтому я ушел первый, оставив ее и предварительно попросив у соседки утюг, чтобы она погладила платье. Своего утюга у меня пока что не было, как и многого другого впрочем. Она гладила, стоя у стола в моей длинной рубашке, когда я уходил, а Арон еще спал.

Болела голова, возникло стойкое ощущение привычной тоски.

В пятницу встретились опять у метро, вместе пошли в «Кафе» – мрачноватую забегаловку на нашей улице. С «самообслуживанием». Мой знакомый – Геныч, высокий, здоровый, стеснительный парень – и его брат Юрка сели за один стол с нами. Меня удивило, что она их ничуть не стеснялась, была как-то очень раскованна и странно смотрела на Геныча. Может быть, ей нравилось, что не она, а он стесняется и отводит глаза? Позже он сказал мне, что когда я пошел за ложками, она как-то запросто поведала им, что я ее муж.

После кафе мы решили прокатиться на водном трамвайчике по Москве-реке. Когда шли по набережной, мимо прощелкал военный невысокого роста.

– Фу, не люблю маленьких военных! – заявила вдруг она

и поморщилась.

Мне не понравилось это.

– Не всем же быть высокими...

– Ну, уж нет. – Она взяла меня под руку и, лукаво заглядывая мне в глаза, продолжала: – Военный должен быть высоким, стройным, подтянутым. Вот тебе бы пошло быть военным.

Но я-то не такой уж высокий, подумал я. Но ничего не сказал.

Сидели на набережной, ждали трамвайчика. Что-то начало раздражать меня в ней, как ни странно. На миг показалось, что у нее какое-то старое, некрасивое лицо, совсем чужое. Нет-нет, не может быть, – что это я? – просто не в настроении...

Дождались трамвайчика, сели. Мимо поплыли знакомые каменные берега, задул холодный ветер. Доплыли до Ленинских гор, вышли, походили около здания Университета. Уже цвели яблони. Но холодно. Сели в автобус. От метро я позвонил Арону. Он дома, не может уйти.

– Нет, я не поеду, – сказала она. – Мне неудобно, ты ж понимаешь. Прошлый раз так стыдно было.

Ну, что ж... В метро меня вдруг прорвало, я начал говорить о себе – о писательстве, об уходе из университета, о сиротском прошлом. Я хотел вернуть прежнее – когда сидели на лавочке на бульварчике во время грозы. Я думал, что и она о себе расскажет, и вернется близость. Но она только слу-

шала. Она просто впитывала глазами, кажется, и так близко стояла ко мне, прислонялась грудью, обволакивала меня своим телом, своим жарким вниманием. В груди у меня что-то сжималось, было почему-то страшно тоскливо, я ощущал себя ребенком.

– Может быть все-таки поедем, – пробормотал я вдруг, с трудом проглатывая комок.

– Нет-нет, что ты. Я и так уже... Поздно.

Однако не уходила никак, не оставляла меня. Уехала чуть ли не с последним поездом и сказала потом, что от метро шла пешком, потому что автобусы уже не ходили.

Договорились ехать на Истринское водохранилище с последним поездом завтра – на весь день воскресенье. И чтобы идти от поезда ночью и ранним утром – там от станции около восьми километров. А ведь сейчас июнь, поют соловьи... Но она позвонила поздно, сказала, что не очень хорошо чувствует себя, не хочет ночью, и лучше если завтра с утра просто поедем на пляж – ведь жарко, температура под тридцать.

– У нас тут пляж рядом, ты приезжай, хорошо?

Солнце, жара. Паруса яхт, купальщики. Песок, хилая молодая травка. Купальник ее желтого цвета, она, как маленькая девочка, хнычет, что он велик, мельком оголяет грудь, поправляя его, я чувствую себя скованно. В горле ком, и голова кружится. Я впервые в жизни вижу вот так, на свету, на солнце женские груди, они у нее очень красивые. У меня кружится голова, а плавки просто трещат, кажется. «За-

пружены реки мои» – приходят в голову слова Уитмена. У нее вообще великолепная фигурка, очень складная, и движения мягкие, кошачьи, и кожа гладкая, нежная. Я просто таю. Уччу ее плавать, в воде поднимаю на руки, гладкую, мокрую, скользкую. Трепещущую словно рыба. Потом мы загораем, лежа на горячем песке. Она давно заметила мою скованность, издевается шутливо, поглядывая на мои плавки, нарочно задевает то плечом, то рукой, то грудью. Плетет у меня на груди венки, ласково прикасаясь пальцами.

– У тебя красивые ноги, – говорит вдруг. – И вообще ты отлично сложен.

Я молчу.

Довольно рано собрались, решили идти домой. Я, естественно, предложил поехать ко мне. Она поупрямилась немного.

– Ну, ладно, – сказала наконец. – Только зайдем ко мне сначала, я переоденусь. Ты меня подождешь на улице, ладно? Чтобы зря бабушку не волновать.

Маленький, почти деревенский домик. Душистая «глухая» крапива у изгороди – яснотка белая: белые сладкие цветочки, пряный, приторный аромат. Минут сорок жду, она выходит, наконец, благоухающая и нарядная. Я в тумане.

– Завтра ты так и пойдешь на работу? – спрашиваю.

– А почему ты думаешь, что я у тебя останусь? – смотрит сбоку, но не кокетливо, а неприятно как-то.

Молчим оба. Едем в троллейбусе, потом в метро.

– А что мы будем делать у тебя? – спрашивает серьезно.  
Меня обдает холодом.

– Как что? Музыка слушать, например...

Молчит.

По магазинам накупаем разной мелочи. Как муж и жена, думаю почему-то. Звоним Арону. Нет дома, слава Тебе, Господи. Идем задним двором – во дворе много народу. В коридоре встречается Вадик, сосед по квартире.

– Привет, как жизнь? – он.

– Нормально, привет, – я.

Он словно из другого мира.

Духота. Ранне-вечерний свет в комнате. На лавочке под окном тетки и старики. Правильно сделали, что пошли задним двором.

Приемник. Какой-то концерт.

Сухое вино, горьковатое, терпкое.

– Знаешь, я немного опьянела... – говорит растерянно.

– Я тоже.

Витаю в облаках. Ничего не соображаю. Да, собственно, пьян с полудня, с пляжа. Так и не трезвел вообще-то. Движения скованные, в голове и в глазах туман.

– Поставь какую-нибудь пластинку хорошую. Ну его, этот концерт, – говорит капризно.

– Сейчас...

На днях купил дешевенькую радиолу – хоть какая-то музыка есть теперь. Мы все еще не целовались, я никак не ре-

шусь.

Стемнело.

– Я уеду в половине двенадцатого, не позже, – говорит вдруг с вызовом.

– Да? – поднимаю брови. – А почему не в одиннадцать? Может, прямо сейчас?

Она встает со стула, подходит к окну. Смотрит во двор. Я ложусь на кровать.

– Ты хочешь, чтобы я осталась? – спрашивает, не поворачиваясь.

Молчу. Меня начинает трясти. Опять ложь. Господи, ну зачем же все время ложь.

Зовут к телефону из коридора. Иду. Арон. Никак не может не приходить совсем – самое большое погулять где-нибудь и прийти позже. Но не долго. Возвращаюсь в комнату.

– Звонил Арон. Ему деваться некуда. Но он пьяный совсем, он ляжет и уснет. Ты как, остаешься?

Она обрадовалась, непонятно чему. Облегченно вздыхает:

– Ладно. Я останусь, если ты хочешь. Пусть приходит. Только ты не зажигай свет...

И все повторилось. Это ужасно, я понимал, но все повторилось. Причем на этот раз мы все же разделись оба – жара! – еще до прихода Арона. Но... Такого у меня еще не было. Нет, у нее не сомкнуты ноги железно, как с другими уже бывало, – я даже чувствовал мимоходом густую – слишком

густую! – растительность в широкой расщелине между ног, но... Но она неизменно делает ловкий финт, едва я пытаюсь сделать то, что знаю пока лишь теоретически, из разговоров и книг. И еще эта чаша волос, черт бы ее побрал. Джунгли какие-то. Она, похоже, великолепно владеет собой, у меня даже ощущение, что она потихоньку улыбается в темноте. Надо мной смеется, над моими неуклюжими попытками. В памяти проносится: «А ты спичку зажги...» Периодически вздрагиваю от волнения, досады, чуть ли не ненависти. Может быть, я что-то не так делаю? Конечно, не так, но как надо-то, как? Это такая игра у нас получается: догонялки-пряталки. Я лишь прикасаюсь – а она ускользает. Духота страшная, мы оба мокры, мои руки скользят по ее телу, и она выскользывает, словно рыба. Финты ловкие, изгибы. У меня кожа тонкая в том самом месте, и я кажется уже поцарапался сильно об эти заросли. Больно, черт возьми. Не рыба, может быть, а русалка. Такая игра русалочья. Только не в воде, а среди скомканных простыней. И в поту. Желание у меня пропадает совсем. Я не хочу ее, она мне неприятна. Грубо, нечестно, противно...

Соскальзываю с нее, ложусь рядом. В голове звенящая боль. Гулкая пустота. Отчаяние. Это я виноват. Я не от мира сего.

– Скажи что-нибудь, – говорю зачем-то.

– Я жду, когда ты отдышишься.

Все взрывается во мне. Странно: как мгновенно может все

измениться. Я ненавижу ее активно. Мы рядом, но мы чужие. Абсолютно. Ничего общего! В ее словах презрение и безжалостность. Неужели я мог испытывать нежность к ней? Ненавижу!

Наконец, засыпаем оба.

Это было в ночь с 19-го на 20-е. А 21-го вечером сижу дома и жду ее звонка. Все-таки жду. Ну не может же быть такой лжи, не может. Мы ведь так близки были... Я сам виноват, наверное. Делал что-то не так... Она обещала позвонить в семь, но не звонит. Я в отчаянье, у меня наворачиваются слезы, это уж совсем не к чему. Ни черта не понимаю. Ненавижу себя.

Позвонила в половине десятого:

– Как ты себя чувствуешь?

Издавается? Но тон хороший. Нет, шутка просто... И ведь позвонила все-таки...

И – опять суббота, 25-го... Такая же. Арон пришел на этот раз только утром, дружище. Но ночью опять ничего не получилось у нас – те же финты, та же дурь. Я не выдержал, разрядился прямо в трусы. Стыд-то какой... А потом мы оба уснули.

При Ароне умывались, отправились завтракать в забегаловку. Потом я провожал ее до метро. Какая-то тихая истерика у меня началась. Я вдруг вздумал позвонить Пашке Васильеву в общежитие Университета, сам не знаю, зачем.

– На, вызови, – сказал ей, набрав номер и давая трубку. –

Скажи: 24-я, правая.

Она вызвала. Пашка подошел. Она не отдавала мне трубку. Она сказала, что говорит, якобы, Лена, так я ей подсказал. Зачем? Потом все-таки взял у нее трубку. Но потом, по просьбе Пашки, опять передал ей. Она начала кокетничать, а Пашка, естественно, дал ей свой телефон и просил обязательно позвонить сегодня же, в пять вечера, обязательно. Чтобы подразнить меня, как сказал потом. А еще он думал, что я ее ему по-дружески уступаю.

Стояли в метро, наверное, не меньше часа. Я опять был в чаду – несмотря ни на что, – а она опять не хотела меня отпускать.

– Мне хочется поцеловать тебя прямо сейчас, при всех, прямо в губы... – пылко говорила она и так смотрела!

Хотя за всю прошедшую ночь был только один поцелуй, и до конца мы так и не раздевались. После разрядки трусы были мокрые, липкие, они так и высохли на мне – я чувствовал себя ужасно. Мне показалось, что она была рада моей безобразной разрядке, странное удовлетворение я почувствовал в ней. Теперь, в метро смотрела в мои глаза, не отрываясь, и прижималась ко мне. И конечно же, чувствовала, что брюки и трусы стали мне тесны... По-моему, она хотела, чтобы я прямо тут, в метро разрядился.

– Ты мне очень нравишься, даже больше, – с придыханием говорила она. – Откуда ты взялся такой хороший? Я ни на кого тебя не променяю: твои глаза, твои губы, твой волос...

Она всегда говорила не волосы, а волос, и это меня раздражало. Многое уже раздражало в ней. Я сказал, что если будет продолжаться так, как сейчас у нас, то я найду себе другую. И скоро!

– Ты всегда усталый в субботу, – не слушая, продолжала она, напряженно и часто дыша, чувственно глядя. – За неделю, наверное, устаешь от разных?

Дура, подумал я, или садистка просто. Издевается, что ли...

– Знаешь, в следующую субботу я буду твоей, совсем-совсем твоей. Совсем-совсем. И чтобы через девять месяцев у нас был ребенок. Ты согласен? Ты хочешь? У нас с тобой будет два мальчика, да?

– Нет, двадцать.

– Ты только ни с кем не встречайся до субботы, ладно?

И все прислонялась ко мне, все смотрела – так, что даже неудобно было перед людьми в метро.

Расстались наконец. Дома я не знал, чем заняться, не находил себе места. А вечером, что-нибудь в начале шестого – Пашкин звонок.

– Чего делаешь? Слушай, давай посидим в парке, в ресторане. Давай? Поболтаем, пива попьем. Если хочешь, возьми с собой девушку какую-нибудь. У меня есть, я договорился. Не хочешь? Ну, приходи один. Денег нет? Это хуже. Но все равно приезжай, немного у меня есть.

И вот парк, ресторан. Смотрю сквозь стеклянную стену и

сначала не вижу Пашки. Но все равно захожу – и вижу, наконец. Иду направо, подхожу к столику. Она. Сидит рядом с ним – праздничная, напомаженная, в элегантном плащике, которого раньше я у нее не видел. И явно из парикмахерской только-только – такой прически тоже не было у нее. И маникюр свежий. Для меня она ни разу так не прихорашивалась.

Перед ней и Пашкой пустые кружки от пива, закуска. Она вся трепещет от возбуждения, глазки блестят.

Первая мысль – уйти. Но перед Пашкой все-таки неудобно. Пришел, чего ж. Можно и посмотреть.

Пиво было очень холодным. Пашка даже на коньяк разорился. Но был он, друг мой давний, все же скучный какой-то. Я сделал бы все куда веселее. Что-то не заладилось у них, явно. Сволочь. Какая же она сволочь.

Посидели, попили пива. Потом холодные аллеи. Вот тут-то можно было уйти. Но я не уходил. Я наращивал шкуру. Наивный мальчик двадцати двух лет, воспринимающий жизнь как сказку, верящий всем подряд. Ей-богу, мне жалко его сейчас. Но, возвращаясь, по ленте времени в прошлое, ощущаю все то же самое. И теперь чувствовал бы и поступал так же. Или как следует, или никак. Я не хочу плавать в дерьме.

Наконец, направились к выходу из парка.

Пашка:

– Слушай, у тебя Арон дома? Я бы поехал с ней к тебе, а ты бы у меня в общежитии переночевал. Я тебе пропуск

дам. Годится?

– Арон дома.

– Только поэтому? – внимательно, испытующе смотрит.

Ни в одном глазу!

– Считай, что только.

Простился сдержанно, отошел от них. Сел в троллейбус. В ней появилось чуть-чуть растерянности, но за мной не пошла.

Приехал домой. Арон действительно дома. Рисует.

– Ты что грустный такой? – вопрос мне. – Случилось что-нибудь?

– Да нет, ничего, все как и должно быть. Что рисуешь?

Опять своих рыбаков?

Он был недавно в Сибири, в творческой командировке, и теперь рисует тружеников моря и села.

Я изо всех сил стараюсь казаться обычным. Раскрывать душу Арону не хочется. Грустная музыка по радио – как специально. Стал слушать. Арон закончил этюд, кисти моет, ложится. Одиннадцать уже – ночь. Тоже раздеваюсь, ложусь.

«Знаешь, для меня это на последнем месте, лучше вообще не надо, ты не расстраивайся, – так говорила она ночью, когда стыдная разрядка у меня состоялась. – Я тебя и так люблю, без этого, понимаешь. Ну, не получается у нас пока, ну и ладно. Разве мы только из-за этого встречаемся? Ведь нет же? Ведь нет? Тебе ведь не только это надо, правда ведь? Ведь так даже лучше, без этого. Конечно, если бы ты захо-

тел... Чтобы мы стали с тобой вместе совсем. Совсем-совсем... Все бы и здесь наладилось, я уверена. Все будет у нас хорошо, я тебя вылечу...» При последних словах она хихикнула чуть-чуть, но так, почти незаметно... Это было сегодняшней ночью – Арон не ночевал, и можно было поговорить. Но говорила она, я молчал. Я просто не знал, что сказать, как выразить, чтобы она поняла. Разве так не понятно? Это ужасно – то, что она говорила, это дикая ложь, но как объяснить ей это, я не знал. И вот инцидент с Пашкой. Дальше просто некуда. Куда я попал, что за мир? Неужели и тут так же, как с «Купальщицей», «Нимфой»? Они – прекрасны, но они – это всего лишь фантазия гениальных художников, а в реальной действительности – пляж: толстые, некрасивые, вонючие тела на грязном песке...

Телефонный звонок раздался в коридоре внезапно. Я вздрогнул. Поздно, ведь все спят в квартире, так поздно нам никто не звонит. Встаю, иду. Она.

– Прости. Мне нужно с тобой поговорить немедленно, сейчас же. Ну, пожалуйста. Арон дома?

– Дома.

– Жалко... Я хотела бы приехать. Очень. Может, можно, а?

– Откуда звонишь?

– С Киевской.

– Почему с Киевской?

– Я тебе все объясню...

– Приезжай.

Я ждал в парадном, на лестнице, чтобы дверным звонком не разбудила соседей. Приехала, торопящаяся появилась из темноты внизу. Прошли потихоньку по коридору, тихо вошли в комнату, чтобы не разбудить Арона. Сняла с шорохом платье. Только платье, отметил я. Легла рядом со мной – в белье залезла под одеяло. Шепотом, волнуясь, рассказывала, как ехала с Пашкой до Университета, как он уговаривал зайти к нему, а она устояла героически. «Что ты в нем нашла?» – якобы говорил он про меня, какие-то гадости нес, карикатурно описывал мою внешность...

Она была очень возбуждена, никак не могла успокоиться, все рассказывала – как с трудом отбилась от него и на автобусе добралась до Киевской. От нее пахло и коньяком, и пивом. И не только...

– Он не друг тебе, зря ты считаешь его другом, – продолжала она о Пашке. – Он подлый...

Перевела дух и добавила, как резюме:

– У нас ничего не было, правда. Мы не целовались даже по-настоящему. Я тебя люблю, только тебя...

Это «по-настоящему» резануло меня, но я сдержался.

– Неужели так ничего и не было, неужели ты устояла? Ах, какая ты молодец. Героиня просто!

– Прости. Я ведь не знала, что так получится, что ты так скоро уйдешь. Мне просто хотелось тебя разыграть. Ну правда же. Пожалуйста прости! – горячо шептала она под храп

Арона и прижималась ко мне. Почти одетая. И ничего снимать, похоже, не собиралась.

И эта ночь прошла так же, как все. Я ждал от нее чего-нибудь, мне унижительным казалось сейчас «действовать» самому. Но не дождался.

Рано утром она ушла. На работу.

В те дни я стал замечать, что со мною что-то неладно. Может быть причина – жара? Весь июль было под тридцать. А может быть моя работа в лаборатории с хлорфенолами? Или ртутные пары, может быть: мы находили лужицы ртути под столами, за шкафами... Внешне, правда, все казалось нормальным, однако я чувствовал себя, как арбуз, блестящий и крепкий снаружи, но иссохший внутри. Порой ловил себя на мысли, что голос, мой собственный голос кажется мне чужим, и я со странным интересом прислушиваюсь к тому, что говорю. Ночами снились кошмары, я просыпался внезапно, и сердце мучительно колотилось. С горечью наблюдал за собой. Наконец, решился: выпросил два дня за свой счет в лаборатории и уехал на Истринское водохранилище.

Дремал под солнцем на берегу или в лодке, купался каждые полчаса. Вода сильно спала по сравнению с тем, что было в прошлую поездку. И мой любимый остров теперь весь показался из воды. Один заливчик среди высоких кустов с чуть вогнутым песчаным берегом, прозрачной водой и камешками на дне напомнил даже Гавайские острова, описанные Хейердалом – розовая мечта юности. В этом заливчике

я и купался. Один раз заплыл довольно далеко, а возвращаясь, сбился с дыхания и от минутной паники наглотался воды. Дремал, купался, опять дремал – словно кто-то укачивал меня в лодке, как в люльке. Потом принялся бегать голышом вдоль острова, продираясь сквозь заросли. Листья ласково гладили мое тело, солнце целовало его...

Увидел парочку на той стороне пролива. Они приехали на мотоцикле, который стоял в тени деревьев, склоненный на один бок. Мужчина в очках сосредоточенно сидел над своими удочками, а молоденькая она, с интересом оглядываясь по сторонам, неуверенно плескалась у берега. Я поглядывал на нее и чувствовал, что выздоравливаю. Купальник ее был тоненький, узенький, она была отлично сложена и красива...

Ночевал в избушке у доброй старушки, пил отличное молоко. На другой день рано утром плыл на лодке в сторону пролива с романтическим названием Дарданеллы и на берегу вдруг увидел обнаженную женщину. Она стояла, глубоко дыша полной высокой грудью, слегка потягиваясь. На песке пласталось небрежно брошенное полотенце. Солнце только-только всходило. Картина, вполне сравнимая с теми... Может быть, это галлюцинация?

В тот же день вечером я уже был в Москве.

Она позвонила на другой день, утром.

– Если ты можешь, то... Давай в субботу?

– Хорошо. Ладно, – сказал я холодно.

Встречаться с ней не хотелось, но надо ведь что-то решить

наконец. Встретились и ходили по улицам. Я предложил зайти ко мне...

– Нет, ты знаешь, – ответила она на мое приглашение. – Сегодня я не могу. Я обещала бабушке, что...

– Хорошо, – сказал я спокойно. – Можешь мне больше не звонить. Ты играешь со мной. Ты пользуешься тем, что я... Это не честно. Ты лжешь. Ну, в общем будь здорова. Пока. Не звони больше.

Она растерялась и ничего не успела ответить: привыкла к моей послушности, не ожидала! Я ушел.

Она не звонила, но вскоре я получил письмо. Она писала, что любит меня. И что «верит», что я, мол, с ней встречался «с полезной для нас обеих целью». Я на всю жизнь запомнил знаменательные эти слова: «с полезной для нас обеих целью». Вот, оказывается, что такое любовь. «Полезная цель»! А я-то...

В конце письма она умоляла ответить «как можно скорее». «Наверное, бабушка отказала в квартире», – подумал я. Ответил через неделю. Написал то, что думал. То есть, что не понимаю, как можно считать целью то, что должно быть лишь следствием. И что хватит с меня всей этой дури и издевательства.

Ее второе письмо было совсем не такое, как первое. Что я и ожидал впрочем. Запомнилась фраза: «Если и ты такого пошиба...» «Пошиба»... Это в ее духе. И еще запомнилось, что мне, по ее мнению, нужно, оказывается, «только это».

«Только»!

Я еще не знал тогда – Арон рассказал чуть позже, – что, оказывается, она была знакома с его приятелем, москвичом, у которого шикарная мастерская – кстати, совсем не так далеко от моего дома. Он, Арон, увидел ее там однажды, но мне не говорил нарочно, чтобы не огорчать. Оказывается, в один из вечеров, когда она ждала меня у метро и приехала чуть раньше, а я опаздывал, этот художник познакомился с ней и дал ей свой телефон. Она звонила ему, а потом и бывала в его мастерской.

– Ну... И что же? – спросил я, с трудом проглатывая ком в горле.

– Честно?

– Разумеется, честно. Не бойся меня огорчить. Даже наоборот.

– Ну, в общем, он сказал, что она неплохая девушка, но слишком развращена. Что-то ему не понравилось в ней, он пару раз был с ней в близости, а потом не стал. И это было в то время, когда она бывала у тебя, вот в чем фокус. Как у тебя-то с ней?

– Нормально, – сказал я с трудом. – У меня нормально.

– Хочешь, познакомлю тебя с ним, сходим в его мастерскую? Может, он ее рисовал?

– Не надо.

Но это после, позже. В период переписки нашей я еще об этом не знал.

Тогда, в то лето поехал в Медвежью-Пустынь, когда получил отпуск. Старался не вспоминать о ней – как когда-то об Алле, – продолжал пытаться писать рассказы. Один как бы даже и получился: я назвал его «Запах берез», он потом – через много лет – был опубликован в «толстом» журнале, а потом вошел и в самую первую книгу. Это описание той самой поездки на Истринское водохранилище – правда, без упоминания Тони. Ходил по лесу, ловил рыбу. Вспоминал о романтической – сказочной! – встрече с девушкой Раей в то счастливое лето перед началом учебы в Университете: она ведь как-то звонила, и встречи с ней в Москве были, там тоже есть о чем вспомнить, но это чуть позже... В Пустыни был недолго – нужно было фотографировать детей в детских садах, зарабатывать деньги: я ведь собирался уходить из лаборатории, всерьез заняться писательством. Как Мартин Иден. Эта книга, кстати, меня потрясла, прочитал ее как раз приблизительно в это время.

Отпуск кончился. Я пока ходил в лабораторию. Слава Богу, уехал Арон. Совсем. Наконец-то я остался один в своей комнате.

Однажды случайно прочел ее первое письмо. И вспомнил, как все начиналось. Эта скамейка под дождем, первые встречи, первое купанье в жару... Может быть, виноват все-таки я? Не сумел ведь. Да, финты, да игра, но я-то что же... И ведь молчал все больше, не говорил толком даже. Не умею ведь. В том и дело.

И – написал ей. Как бы так, между прочим.

Она немедленно позвонила. Мы встретились.

Она опять нравилась мне, и я был скован. Сели на водный трамвайчик, доплыли до Ленинских гор, потом обратно. Уже были поздние сумерки. Дул ветер – в свете береговых фонарей сверкали беспокойные волны. Только на обратном пути я обнял ее, податливую. От ее ногтей пахло свежим лаком. Она молчала, я тоже.

Медленно и молча шли с пристани. Наконец, все же предложил зайти ко мне.

– Арон уехал, – сказал я. – Совсем. Я теперь, наконец-то, один в комнате.

Но она покачала головой. Отрицательно. И сказала, что обещала своей хозяйке быть дома в половине двенадцатого. У нее теперь другая хозяйка, очень строгая, старенькая, нельзя ее волновать.

– Ну, что ж, – сказал я. – Как знаешь...

У метро мы холодно простились.

Однако она позвонила на другой же день, утром. И очень просила о встрече.

Сразу пошли ко мне. Все началось, как раньше.

– В таком случае уходи, – сказал я. – Или, может быть мне уйти? Ночевать на вокзале? Зачем же ты ложишься со мной, если так ведешь себя? Это издевательство, ты не находишь?

– Не надо...

Под утро она не выдержала.

Великое, историческое событие в моей жизни произошло как-то буднично и почти незаметно. Я сначала даже не понял, не осознал, что это именно ТО. Просто, у меня опять неуместная разрядка – мы были без всякой одежды оба, – и она, очевидно, решила, что все, я иссяк. И расслабилась. Я действительно иссяк, но, как оказалось, не совсем, кое-что у меня еще топорщилось напоследок – оно-то вдруг и проникло. В нежность и теплоту. И вдруг я понял: это – ТО САМОЕ. Свершилось! Я чуть не заплакал. От обиды, досады, от безнадежной печали. Ведь так просто оказывается! Так просто! А она столько мучила. Почему?! Зачем?! Кому от этого лучше? Господи, делов-то... Они что, все ненормальные? Господи, делов-то... Зачем же она так мучила? Зачем Ленка, Мира, другие... О, Господи, что же это за мир...

И она, думаю, поняла. Расслабилась тотчас. Но не от удовольствия, нет. Не от нежности вовсе. А от усталости. Но главное – главное все же другое. С холодным ужасом я вдруг осознал: она поняла, что ПРОИГРАЛА! Потому что противник – противник, а не друг – противник!! – занял неожиданно и коварно давно осаждаемую неприступную крепость. Занял, конечно, не полностью, не так, чтобы победно и основательно, но все же – проник. Раскрыта страшная тайна! Дальнейшее сопротивление бессмысленно, ворота распахнуты. Конец войне.

Я лежал в полном трансе. Не крепость разочаровала меня – другое. Конечно, это таинственный, волшебный цве-

ток, подаренный ей Природой, конечно. Но он ведь предан ею, унижен. Горечь, отчаяние, жалость просто затопили меня. Мне хотелось рыдать, как ребенку. Это теплое, ласковое, нежное чудо, этот родник Жизни и Радости, был оболган и оскорблен. Она прятала от меня теплые недра, она относилась к ним как к товару и хотела продать подороже. Потому и ускользала упорно. Какая любовь?! Торговля, схватка, военные действия и борьба! Бесстыдно она отдавалась другим – тем, кого завоевать было трудно, но с которыми зато можно побаловать тело – физиология ведь, для здоровья! О, я слышал о подобных историях: за деньги, за блага, за карьеру – пожалуйста (но, конечно, так, чтобы никто не знал)! А вот по любви... Это надо еще заслужить, заработать! И каким трудом!... «Я не такая». «Вам лишь бы одно»...

Проигрыш, поражение просто вопили в ней. Безвольное, усталое тело, печальные глаза. Вместо великого праздника у нас получились поминки.

Расстались, естественно, как чужие. Как будто я украл у нее что-то. А она проворонила.

Она долго не звонила. А я все свободное время опять писал и переписывал свои рассказы. Такие зарисовки о природе получались пока – о рыбной ловле, об Алексее Козыреве, о Рыбинском море... По фразам, по словам разбирал рассказы Бунина, Чехова, Хемингуэя. Разумеется, я не собирался им подражать. Просто интересно было, на чем держится конструкция, как «работают» слова, почему такая музы-

ка в рассказах Бунина, мерный, многозначительный ритм у Хемингуэя, глубокая, таинственная печаль у Чехова. Как избавиться от повторов, неясностей, нарушения ритма, занудства. Появился и второй рассказ у меня, «Зимняя сказка» – просто о том, как мы с Гаврилычем ходили на рыбную ловлю, один только день: волшебство зимней природы, леса, восхода солнца, подледной ловли... Он тоже потом, через много лет, был напечатан в «толстом» журнале, его хвалили... Но это потом. А пока был труд, мучительный труд, потому что очень нелегко увидеть себя со стороны – и вообще себя, и то, что ты пишешь.

Я тоже не звонил ей.

Прошло после нашей встречи месяца полтора. Она позвонила. И сказала, что у нее «большое несчастье».

– Что случилось? – спросил я.

– Не по телефону. Давай увидимся.

– Приходи, конечно.

Пришла. Я сидел на кровати, она на стуле, далеко от меня. Показала справку – направление на аборт. Боже мой, я-то причем? Конечно, проникновение было, могло, наверное, попасть что-то, но вероятность настолько мала... Ведь я едва-едва проник... Ничего нельзя гарантировать, верно, но я опять упорно чувствовал ложь. И сейчас думаю: неужели? А тогда тотчас вспомнилось, что мне рассказала Рита, сестра. Тоня видела ее как-то, знала, кем она мне приходится, и однажды подошла к ней на улице.

– Юре давно пора создать семью, подскажите ему, ведь это ему только поможет, – попросила она.

Ничего себе! Рита удивилась и, естественно, отказалась:

– Это его личное дело, он взрослый человек, пусть сам и решает.

Пообещала, что не скажет мне, но недавно, когда я признался, что мы фактически с Тоней расстались, сказала. Теперь это и вспомнилось. Я подумал, что теперь новый шантаж. И сейчас думаю: так, пожалуй, и было. Тем более, если вспомнить, что мне перед отъездом сказал Арон.

Тем не менее, с несчастным, траурным видом первая в моей жизни женщина говорила, что все последние дни думала о смерти. Почему?! – думал я. Ребенок от любимого человека, пусть даже вне брака, пусть даже без собственной квартиры, пусть даже у не очень богатой девушки... Трудно – да! Но причем же тут смерть?

Может быть я и не прав, понимаю, но я чувствовал махровую ложь. Мне стыдно было смотреть ей в глаза не из-за себя – из-за нее. Все-таки я вздыхал, соглашался, что да, это ужасно, но что же делать, раз так получилось. Причем же тут смерть?

– Ну, ладно, хватит об этом, – вдруг сказала она и придвинулась ко мне боком.

Я обнял ее – жалко ведь все-таки. Теперь она вела себя по-другому. Любви-нежности не было, но она по крайней мере сразу разделась и не делала никаких финтов. Совсем по-

другому, я изумился.

Но я изумился не только этому. Стыдно об этом писать, но слишком большой отпечаток это наложило на всю мою последующую жизнь. Раньше санитарное состояние ее тела было как-то на уровне, во всяком случае отвращения на этой почве у меня не возникало. Но в этот раз... Я не чаял, как все закончить быстрее. Меня начало тошнить. Только из уважения к ее человеческому, женскому достоинству (несмотря ни на что!) я все-таки продолжал. Это было ужасно. Она что, нарочно решила мне так отомстить?

Когда она ушла, я согрел чайник, принес таз и тщательно отмывался. Я чувствовал себя униженным и оплеванным. Господи, за что это? Какая «Нимфа», какая «Купальщица»... Уже чувствовал, что долго не захочу ни с кем иметь дело.

Вскоре она позвонила и сказала, что «все в порядке» и опять попросила о встрече. Встретились. В последний раз. Наконец-то честно сказала, что не хочет «так», а хочет замуж, что ей «вообще надоело так», а меня она любит и очень хотела бы, чтобы... Разумеется, я сказал, что это исключено.

И теперь она уже точно ушла. Из моей жизни совсем, слава Богу. Первая моя женщина – после романтики с Лорой, с Аллой, после снов и фантазий... Увы.

Единственная из всех, к которой я не испытываю благодарности.

# Рая

А теперь пора вспомнить...

Август. Тихий погожий вечер. Мне – восемнадцать. Мы с моим новым знакомым охотником, «старшим товарищем» Владимир-Иванычем идем по тропинке вдоль речки Сестра (приток Яхромы). Впереди – деревня Медвежья-Пустынь. Переходим мост... Пахнет сеном, цветами, чуть-чуть тиной, болотом. Навстречу – девчонка лет семнадцати. Улыбается почему-то и мимо проходит... А у меня сердце так и замерло.

– Студенты здесь на уборке, – бурчит Владимир Иваныч. – Таковую моду развели – студентов в деревню посылать на уборку. Из институтов, даже из техникумов...

Оборачиваюсь, смотрю ей вслед. Она тоже обернулась, смеется. Боже, как хороша!

Владимир Иваныч в другой избе останавливается, у него тут давние знакомые. А я у тети Нюши. Тоже как всегда. Пришел, тетя Нюша хорошо приняла, сидим за самоваром при свете керосиновой лампы – с ней и ее сыном, Борисом. И вдруг открывается дверь избы, и входит... Чудеса: входит та самая девушка, что встретила нас по дороге! Да еще и с подругой. Мистика да и только...

Да, студенты техникума, да, на уборке пшеницы. Рая. Волосы у нее недлинные, но очень густые, шапкой – русые,

вываются чуть-чуть. Глаза то ли голубые, то ли серые, при керосиновой лампе не разглядишь. Обе с нами за стол садятся, вместе пьем чай, из Москвы я конфеты да пряники привез.

И замечаю вдруг, что все словно изменилось в избе с их приходом – лампа, что ли, ярче разгорелась? Уютнее стало, теплее, радость, спокойствие овладели всеми. С милого ее лица улыбка не сходит, ямочки на щеках, а носик просто загляденье – чуть вздернутый, но прямой, аккуратненький, задорный такой. Ну, вот же она, настоящая жизнь, думаю я тотчас, вот же она! Ну просто ток какой-то исходит от девочек, а особенно от нее, от Раи – не смотришь, а все равно ощущаешь. Каждая клеточка в ней трепещет даже когда просто сидит и молчит. И ни нервозности, ни выпендривания никакого, одна радость жизни переполняет ее, кажется, хотя и сдерживается она, даже как бы и стесняется этой своей радости – говорит мало, а только улыбается, смотрит весело, а глаза так и лучатся.

Смеемся дружно – шутки, анекдоты пошли, истории смешные разные, – но вот решаем в карты поиграть, в дурака. Играет каждый за себя, проигравшего мажем сажей – палец в печное жерло сунуть надо, а потом одну полоску на лице «дурака» провести. Все постепенно то ли бесенятами, то ли дьяволятами становятся, а может, и мушкетерами – с усами, с бородками.

– Тебе идут усы, – говорит она мне, улыбаясь, сияя.

А уж как ей идут, трудно и передать. Глазки ее веселые

на полосатом личике так и сверкают, зубы сахарные блестят, а до губ пухленьких, нежных никто, конечно, и дотронуться не посмел.

У нас с Владимир-Иванычем дорога длинная была, утомительная – двенадцать километров от Рогачева пешком шли, а перед тем четыре с лишним часа в переполненном автобусе на ногах стояли, – да и время теперь уж позднее, за полночь перевалило, а о сне и думать не хочется. Но все же пора ложиться – девчонкам на работу завтра с утра. Умываемся дружно под ночным звездным небом у деревенского колодца, из ковшика поливаем друг другу водой ледяной, хрустальной, чистойшей, а потом – сеновал.

Половина избы – это «двор», большое пространство под крышей в стенах бревенчатых: тут и корова с теленком, и куры с петухом на насестах ночуют, и огромная, под самую крышу, копна сена у дальней стены. При свете фонарика много по деревянным шатким ступенькам спускаемся сначала на мягкий пол – земля с толстой подстилкой соломенной, – а потом на сено лезем по хилой приставленной лесенке. Шутки, конечно, опять, хотя и стараемся не шуметь – корова все ж таки спит со своим ребенком, – лезем поочередно, и уже сердце замирает у меня: как бы с ней рядом...

Сено шуршит, колкое, сухое, душистое, даже запах коровы перебивает. Устраиваемся в полном мраке рядком, норки себе в сене делаем, лежим, как в общем широком коконе, только подушки под головами да и одежда своя, одеял, есте-

ственно, нет никаких. Раздеться, конечно, нельзя – колко.

Фонарь я свой погасил, мрак полнейший, лежу и думаю: кто же рядом со мной, справа? Сердце колотится неудержимо, и понимаю вдруг: рядом – она. Пристраивается поудобнее и вдруг локтем меня задела:

– Ой, извини!...

Сердце мое прямо так и зашлось.

Да, она рядом, радость во мне клокочет, какой уж тут сон. Но вот вопрос: что делать надо и как?

Сначала по инерции шутим, конечно, анекдоты какие-то рассказываем, страшные случаи, но вот постепенно стихает все. Борис утомился, и подруга его молчит – уснули, кажется. Рая не спит, я чувствую. У меня тоже сна ни в одном глазу, голова лихорадочно работает: что надо сделать? Как?

Корова жвачку перестала жевать, уснула тоже, только вздыхает иногда тяжело, курица какая-нибудь на насесте шевельнется время от времени, поквохчет во сне, а так тишина полнейшая. Я же в сомнениях весь. Руку осторожно протягиваю – как бы во сне, невзначай, – не ошибся ли я, она ли рядом со мной? Точно, она! Ойкнула тихонько. Но не отодвинулась, отмечаю, и сердце мое тотчас откликнулось молотом. Аж в голове зашумело, и дыхание прервалось: значит... Плечо ее под моею рукой, только тут ощущать начинаю. Господи, это же чудо какое-то: плечо теплое, нежное, ничего подобного никогда... Едва сердце слегка успокоилось и дыхание, начинаю руку по миллиметру сдвигать. Она не

шевелится, застыла – спит как будто. Но дыхание тихое-тихое. Рука моя ползет медленно, а сердце ходуном ходит, и в ушах просто гром грохочет – хорошо, что другим не слышно. И вот...

О, Боже мой милосердный, это же грудь ее! Да, это она. Божественная, как в том давнем сне. И, наверное, светящаяся... Я даже глаза приоткрываю, смотрю, вглядываюсь. Нет, не видно, одежда загораживает, наверное, и моя рука... Не шевелится Рая, небесное создание, прелесть моя... О, Боже, может ли что-нибудь на свете сравниться с этим блаженством! Как во сне, в том прекрасном давнем сне. Но наяву теперь! Что же делать? Понимаю, делать что-то обязательно надо. Поцеловать? Но как? Не видно ничего... Но надо, надо!

Лежу в оцепенении некоторое время, рука моя по-прежнему на ее груди, но уже четко осознаю: нельзя останавливаться на этом, ни в коем случае. И тогда... Эх, была не была! Осторожно выпрастываюсь из кокона по пояс, приподнимаюсь, шурша безобразно сеном, обнимаю внезапно той рукой, что на груди ее лежала и... Словно дятел, попадаю сначала куда-то в подбородок, но ориентируюсь тотчас, и – в губы. Точно, в губы! Нежные, но сомкнутые... Не ожидала? Фиксирую поцелуй, так сказать, тотчас отстраняюсь, ложусь с облегчением на место – дело сделано...

Не отпихнула она меня и даже не вскрикнула, ничего не сказала, не шептала ничего. Но не спала – точно! Только

вздохнула глубоко, да, это было...

И вот теперь, вот опять сокрушаюсь. Ведь не оттолкнула, не отпихнула ни разу! Что же я?...

И все же. Решился, все-таки решился тогда! Легко говорить теперь, а тогда ведь словно пути на себе рвал и сквозь мучительные сомнения, сердцебиение и головокружение пробивался. Все-таки попробовал, совершил поступок! Прогресс...

Утомился от неравной, мучительной борьбы, бедный. Вскоре уснул. И не заметил, как...

Разбудил петух.

И начинался бесконечный солнечный день, и радость так и клокотала во мне. Уже и родство как бы появилось между нами, сокровенная, интимная близость.

– Хорошо спали? – спросила тетя Ньюша, когда мы в избе под умывальником умывались.

– Хорошо, хорошо, – ответила Рая, смеясь. И добавила – так, чтобы только я слышал: – Если устранить некоторые обстоятельства...

– Что же именно? – вспыхнул я тотчас, обижаясь зачем-то, хотя ведь «обстоятельствами»-то могли быть и Борис с подругой...

А она на работу на комбайн торопилась. У подборщика их ставят, сказала: пшеницу сжатую вилами подправляют, чтобы не терялись, не падали колосья на землю.

Яркое красное платье надела – вчера в другом была. Ну

как же ей все идет!

Выходим вместе – она в поле, а я на рыбную ловлю, с удочками и червями. Солнце всплывает медленно, небо чистейшее, светло-голубое с серебристым отливом, впереди погожий августовский день...

А ведь меня тогда как раз только что в Университет приняли – школу с Золотой медалью окончил, приняли в МГУ без экзаменов, собеседование прошел с блеском, а там ведь конкурс среди медалистов был – три человека на место! Все – впереди! И вот еще царский подарок – очаровательное, божественное создание... Ну как же не радоваться?!

– Приходи в обед на речку, к омуту, ладно? – говорю ей напоследок. – Фотоаппарат у меня, фотографировать тебя буду. Придешь?

– Приду, если отпустят, – отвечает, улыбаясь задорно.

Уходит. Красное платье мелькает вдоль речки, потом через мост идет. Голые ножки чуть выше коленок сверкают. Босиком идет, милая.

А я не шагом иду дальше, я лечу просто. Упиваюсь солнцем, голубым теплым небом, травой ароматной, цветами. Растворяюсь, кажется, во всей этой благодати и на редкие облачка смотрю: серебристые, свободные, легкие... Мне – восемнадцать! Босиком иду тоже. Навстречу жизни...

Сажу на берегу, смотрю на поплавки, солнцу лицо подставляю, а сам стрекот комбайна, как божественную музыку слушаю. И все мои мысли – там. Ведь она там где-то оруду-

ет вилами... Рыба не очень-то ловится, но радость от меня, наверное, словно сиянье расходится.

А ночью – опять сеновал, и опять она рядом, и рука моя осторожная теперь уж и до бархатной ноги дотронулась даже. И это такое блаженство, что трудно и передать. Но только до начала трусиков, никак не выше. Платье ее под трусики подоткнуто – чтобы сено не попадало, так надо думать, – и разрушать эти баррикады я все-таки не решаюсь. Опять легкий поцелуй, но опять, увы, мимолетный и без решительного ответа – Борис с другой девушкой тут как тут, как и прежде.

Уснули довольно скоро в этот раз, а на другой день, увы, с самого утра – дождь. И бригаду, где Рая, перевели на другие работы в соседнюю деревню, за несколько километров. И поселили там... Только и успел я пару снимков сделать и телефон ей свой написать – у нее, как сказала, в Москве телефона нет.

И больше ни разу не видел ее в то лето, но весь оставшийся август ходил, переполненный ею.

Но как вернулся в Москву, все и отодвинулось тотчас. Она не звонила пока, а у меня новая жизнь началась. В которую я поначалу очень и очень верил.

Позвонила через два года с лишним, представьте себе. А все потому, что я на что-то решился тогда, на сеновале, теперь-то в этом абсолютно уверен. Хотя и была попытка моя неумелой и неуклюжей, но она – была! Это и стало причиной последующего. Помнила!

К тому времени я из университета ушел, на Рыбинское море ездил несколько раз, «самый длинный день» уже был, но с Тоней пока что еще не встречался.

Не забыла?! Вот это номер...

Встретились в октябре что-нибудь. Повзрослела, конечно – двадцать уже. Но стала, может быть, даже лучше: женственность расцвела. Меньше девичьего, воздушного, солнечного, что ли, но зато больше реального, земного – материального, так скажем. Фигура просто потрясающая. И движения очень женственные. Подрезала волосы, окрасила в черный цвет. Умело наложенная косметика. Назвалась по телефону сначала зачем-то Олей, потом со смехом призналась, что она – да-да, та самая Рая: «Помнишь, в Пустыни, сеновал помнишь? Узнал?»

Еще бы.

Сначала сходили в кино, потом я, естественно и как бы между прочим:

– Зайдем ко мне, может быть? Здесь недалеко...

– Почему бы и нет? Зайдем.

Сняла пальто – тут-то я и увидел роскошную ее фигуру, ощутил новую, взрослую ее женственность. Вообще-то лицо изменилось не сильно – все та же живость, радость жизни, рвущаяся наружу. Но чуть-чуть проще оно все же стало, может быть даже слегка грубее.

Что мы тогда делали, не помню, но время было уже позднее, а домой она как будто и не собиралась.

– Ну, что же, давай спать ложиться? – сказал я наобум и как бы даже почти в шутку.

– Давай, – спокойно и просто сказала она.

Тут-то у меня и началось. Перехватило дыхание... Господи, конечно, она была лучше и Ленки, и Миры, и Светки, и других всех. В сущности она была даже не хуже Аллы, а если вспомнить, тем более, то лето и сеновал... Неужели? Неужели с ней ЭТО, наконец, может быть?...

С того момента, как она спокойно так согласилась, я плавно и основательно погрузился в транс. Это ведь не просто, это в сущности коротенькая, но пылкая моя любовь, это посланница из того чудесного лета, когда... Нет, такого просто не может быть, так не бывает... И она такая красивая, она потрясающе красива сейчас, а фигур таких я, пожалуй, не видел... Нет, такого не может быть никогда... Судьба, ты издеваешься надо мной!

Она тем временем спокойно разделась, легла. К стенке, аккуратно оставив мне место рядом. Правда, она не совсем разделась, осталась в комбинации, трусиках, но все же...

И вот она лежит на спине рядом со мной, в моей постели. Этого не может быть, но это действительно так. Я тоже на спине, мы прикасаемся плечами. Конечно, я не в себе, это ясно. Единственное, на что хватает меня – легонько провести ладонью по ее плечу, груди. Плечо прохладное, удивительно гладкое – отполированный мрамор. Под комбинацией она, оказывается, без бюстгальтера, я и вовсе обалдеваю,

ощутив ладонью ее ошеломляюще нежную высокую грудь, слегка выпирающие соски, в голове у меня смерч, цунами, я сейчас задохнусь, мне воздуха не хватает. Она тоже вздрагивает слегка, когда я касаюсь груди, но не делает ничего, не поворачивается ко мне. И молчит. Только дышит чуть напряженно.

А я убираю руку и лежу в клиническом ступоре. Боюсь шевельнуться, словно опасаюсь испугнуть, нарушить происходящее волшебство, никак не могу осознать, что такое возможно – вот, оно происходит! – она рядом со мной, в моей убогой комнате, на моей кровати. И просто случайно на другой кровати нет жильцов – старые уехали, а новых мы с Ритой пока не нашли. Может быть, это сон?

Да мне тогда просто молиться на все это хотелось, какие уж действия! Тони, повторяю, тогда еще не было в моей жизни.

А потом совсем невразумительное во мне началось. Я лежал рядом с живым этим чудом и чуть не плакал. Мне чуть ли не в голос рыдать хотелось. Они душили меня, рыдания эти дурацкие, я едва сдерживался, едва-едва – хорошо, что она ничего не говорила, а то бы... Нахлынуло вдруг все самое грустное, мрачное – смерть всех подряд: матери, отца, бабушки, тети Лили, бедность беспросветная, а тут еще и с университетом прокол... Со стороны я, наверное, был как каменный. Я, наверное, был сгусток горечи – вместо того, чтобы блаженствовать, радоваться... Теперь понимаю: ей то-

гда, видимо, передалось. Потому она и не делала ничего и не говорила. А может быть и у нее похожее состояние было? Я ведь потом только узнал, какая у нее жизнь – не лучше моей, а то и похуже. Вот она и лежала тоже как каменная, мраморная, не шевелясь.

Так, представьте себе, и прошла вся ночь: мы периодически засыпали, просыпались, засыпали опять. И никто из нас не изменил позы – даже на бок не повернулись, ни я, ни она. Словно две мраморные теплые статуи лежали мы рядом – Адам и Ева советские, законопослушные граждане, строители будущего всеобщего всемирного счастья, черт нас возьми. Теперь-то я понимаю, что не случайно так получилось, символ даже усматриваю: у «врат Рая», можно сказать, так и пролежал я всю ночь вместе с девушкой по имени Рая. Так ведь оно и было тогда не только у нас. Мы и понятия не имели о настоящем счастье. Нам мозги бесконечно пудрили, а на самом деле душили нас, выжимали, паутиной своих постановлений и идеологий опутывали. Чтобы до истинного рая не допустить. Я это потом, много позже понял, а тогда, конечно, не понимал.

Тогда утром, когда, наконец, поднялись, так и не преодолев странного этого транса – ни я, ни она, – я провожал ее до метро и печально и натужно шутил:

– Надо же, мы были с тобой прямо как брат с сестрой, да?

Умница, она смеялась. И не было ни презрения, ни обиды в ее смехе. Мне кажется, она поняла. Она смеялась почти так

же весело, как в то лето.

– Знаешь, ты извини, – сказал я серьезно. – Что-то было со мной, сам не знаю что. Ты мне очень нравишься, просто очень. Сам не понимаю, почему так.

– Но ты же целовался тогда со мной, помнишь? На сеновале...

Помнит! Вот это да.

– Ну, это было так неумело, я, помню, сначала в подбородок попал...

Она опять смеялась, прелесть моя.

– Да нет, в общем-то все нормально. А я так испугалась тогда, не ожидала.

– Все хорошо будет, я думаю, это просто в первый раз так. Ты мне нравишься очень...

Я говорил это и правильно делал, но барьер-то передо мной еще больше вырос. Что-то надо делать решительное, я понимал.

А она опять не звонила долго. Прошла зима, наступила весна, май пришел – вот тогда я и встретил Тоню.

Этап моей жизни под названием «Первая женщина, Тоня» в социальном плане включил уход из лаборатории хлорфенолов, свободный полет в течение нескольких месяцев – фотографирование детей в детских садах, успешное укрывательство от милиции и фининспекторов (правда, однажды, на ВДНХ, меня повязали, а я не избежал вовремя от заказанных групповых фотографий, дело кончилось тем, что меня

навестил-таки фининспектор, но, увидев, как «богато» я живу, решил все же закрыть дело и предложил написать бумагу о том, что я уже «прекратил заниматься кустарным промыслом»), – и я оформился, представьте себе, рабочим сцены в филиал Государственного Академического Большого театра СССР. То есть стал фактически грузчиком, потому что работал на перевозке декораций. И надо сказать, что работа вполне романтическая: зимой, порой аж в тридцатиградусный мороз мы, бригада грузчиков из четырех человек, грузили декорации от вчерашнего спектакля, ехали в Мастерские, где хранились они, потому что не помещались в здании театра, сгружали эти, нагружали и тщательно «увязывали» другие – для спектакля сегодняшнего. И ехали обратно в театр вместе с декорациями, в открытом кузове грузовика. Естественно, я бесплатно посмотрел фактически все спектакли – в филиале, и в самом Большом театре, на Главной сцене. А главное – свободна от всяких глупостей голова, можно думать о том, о чем только душа желает, да и работа на свежем воздухе, что тоже немаловажно. А еще я научился «делать температуру» на медицинском термометре, к тому же у меня постоянно были слегка воспалены гланды – так что бюллетень давали запросто с диагнозом ОРЗ, и я аккуратно брал его каждый месяц дней на десять – чтобы спокойно работать над своими рассказами и читать книги в Библиотеке имени Ленина. Тем более, что бюллетень отчасти оплачивался.

Наконец, и из театра уволился, но уже через месяц стал

представителем самого что ни на есть рабочего класса – официального «гегемона» советской страны. То есть оформился на Московский завод малолитражных автомобилей – МЗМА. Потом он стал называться АЗЛК, а в конце концов, в «перестройку» – АО «Москвич». Но я, конечно, потом на нем не работал...

Вообще-то должен сказать, что эти мои метания по предприятиям совершенно разного профиля были не от плохой жизни, а от хорошей. Я это делал нарочно: жизнь таким образом изучал. И, к тому же, хотя и с пробелами, но все же заполнял Трудовую книжку, иначе меня запросто могли выявить как «тунеядца» и не только оштрафовать, но, глядишь, комнаты лишить и из Москвы выслать. Такое в те годы было не редкость.

И вот – внимание! внимание! – Рая вдруг опять позвонила. Опять через два года, но теперь уже – после Тони. Естественно, мы тотчас договорились. И встретились.

Мне стукнуло уже 23, а ей, естественно, на год меньше. Еще изменилась, конечно: что-то появилось в ней новое и чужое. От прежней девочки осталось немного, но очень красивая все равно. Хотя пожалуй слишком ярко накрашенная. И словно не было прошедших двух лет – мы как-то по-деловому, почти и не разговаривая, лишь выпив чуть-чуть, стали ложиться в кровать: она спокойно и молча разделась – полностью в этот раз, – быстро улеглась к стенке... И я тоже, стараясь ни в коем случае не думать о прошлом, не впадая

в романтический транс, как-то почти «по-военному» мгновенно скинул одежду, нырнул к ней и тотчас же занял на ней «боевую позицию». И она тотчас, как по команде, раздвинула ноги...

– Ой, кто это тебя научил? – с удивлением и с улыбкой проговорила она, как-то привычно, легко и с готовностью кладя обе руки мне на спину.

Никто меня не учил, да я и не научился, милая ты моя, мельком подумал я, хотя ничего не сказал. Потому что боялся отвлечься, боялся, что начнется опять, я старался давить в себе все эмоции – это просто, ничего особенного, вот так надо делать, вот так, уговаривал я себя... И некрасивым, грубым рывком проник в ее прекрасное тело – с ужасом ощущая кощунственную эту грубость, это святотатство, безобразие это, и чувствуя, что там у нее еще сухо, и волоски грубо раздрают нежную, тонкую мою кожу – я чуть не вскрикнул даже от острой, режущей боли, – да и ей было, наверное, больно, но она, очевидно, понимая меня, терпела. Это было безобразно, унижительно для обоих, но мы оба словно старались скорей, скорей проскочить опасную, роковую черту – пока не вернулось общее наше прошлое. Которого мы боялись.

Несколько поспешных встречных движений с ее стороны – привычный, видимо, для нее теперь ритуал, понял я тотчас, – несколько настойчивых, злых движений моих – через боль, как преодоление, как необходимая, отчасти приятная, но очень болезненная процедура, блаженная мгновенная су-

дорога, учащенное дыхание, мощное биение сердца, облегчение страданий моих, потому что в недрах ее после моей судороги стало тотчас влажно и скользко, внезапный всплеск нежности к ней, сочувствия, благодарности... Постепенное возвращение к реальной действительности. Перейден Рубикон, слава Богу, уфф.

Убогая моя постель – хотя теперь и с чистыми, свежими двумя простынями, – ночной сумрак в комнате, далекая молчаливая она, опустошенный, хотя и ощущающий в теле определенную легкость я. Медленно тянется время. Что ей сказать? Что я на самом деле вовсе не научился, что она у меня всего лишь вторая, а первую можно и не считать, потому что любви там фактически не было и в помине, что я никогда не забуду тех августовских дней и ночи на сеновале, что я и сейчас влюблен в нее, но что-то непонятное происходит с нами обоими, что мы вот только что совершили, вне всяких сомнений, действие правильное, но так некрасиво и унижительно, а виноват в этом, конечно, я, хотя и не понимаю, почему так – ведь я же стараюсь быть самим собой и не предавать то, что люблю, но получается все время так убого, уныло, так плохо... И что самое горячее желание у меня сейчас – выплакаться у нее на плече, как на плече у мамы, которой у меня фактически не было, потому что я ведь ее совсем не помню. И что все с той – августовской – поры изменилось – и я, и, очевидно, она, мы уже становимся бесчувственными, как многие, как, думаю, большинство –

жующие, пьющие, говорящие чепуху, а то и вовсе молчащие живые трупы – зомби! – хотя и теплые, вроде бы, даже совокупляющиеся... Что это вовсе не то, что могло и что должно обязательно быть, но как это сделать, как вернуть прошлое, спасти его и не потерять, а – улучшить...

Я молчал. И она тоже молчала. Трудно представить, что она чувствовала – теперь-то я понимаю, что она могла вообще НИЧЕГО не чувствовать, кроме, может быть, разочарования, неудовлетворенности, легкой досады... Но надо отдать ей должное: мне она этого не показала. Не выдала ничем своего недовольства, не обидела грубой насмешкой, не упрекнула.

И все же произошло у нас, слава Богу! Сквозь стыд, неловкость, досаду, привычную тягучую тоску пробивалось во мне ощущение маленькой, но – победы. И, конечно же, нежность и благодарность ей. Главное, главное для меня: Тоня оказалась не случайной, не единственной; значит, я, скорее всего, нормальный, все получится у меня со временем, надо только учиться, учиться, не унывать, не падать духом, настойчиво продолжать. И еще открытие: вот ведь, оказывается, с их стороны может быть просто, без шантажа и финтов. Без мучительной, нелепой осады, лжи, панической боязни последствий, бездарных, унылых игр. Со встречной, спокойной готовностью, симпатией откровенной, может быть, даже... с любовью...

Расстались хорошо, дружески, она обещала звонить. Ска-

зала, что работает в каком-то продовольственном магазине. Товароведом, что ли.

Через некоторое время позвонила, зимой, кажется. Мы встретились. Получилось лучше, но не намного. Я все еще был молчалив и скован. Как, впрочем, и она. Почему она? И сейчас не вполне понимаю. То ли действительно переживала отчасти, как я, то ли такая вот молчаливая деловитость стала естественной для нее... Не знаю. Такой вот момент запомнился: она забралась на меня верхом и, старательно погрузив в себя мой торчащий жезл, сказала с улыбкой:

– Ну, что же ты? Работай...

Вот тогда-то и заметил я с тщательно скрываемой горечью, что тело ее далеко не то, что раньше. Она расплнела, погрубела явно, кожа уже не та. И грудь не такая божественная.

Но мой барьер потихонечку исчезал.

А теперь слушайте. Слушайте все! Внимание, внимание!

Казалось мне самому (а не только им и, наверное, вам тоже): ну какой я, к чертям, мужик? Двадцать четыре года уже, а был с женщиной всего несколько раз да так, что и вспоминать стыдно. Хотя и не падал духом все же – отметьте, отметьте. Потому что это, последнее, – самое главное. Помнил я лучшие картинки прожитой до сих пор своей жизни, не забывал их ни при каких обстоятельствах. Понимал: в них истина! А то, что не получается пока по-настоящему – грустно, конечно, но не безнадежно. Не может быть безнадежно. Не

может, не может...

Итак, встречались мы с Раей два раза близко, но получалось это, как известно, довольно убого – неумело, уныло. И на какое-то время она из моей жизни опять исчезла. Работал я теперь, как уже сказано, на автомобильном заводе, а перед тем провел трудное лето, активно фотографируя в детских садах – так и назвал для себя этот период: Трудное лето, Программа №1. Почему «программа»? А потому, что нужно было устроить более человеческую жизнь, наконец: надоела постоянная унижительная нужда, отсутствие самых необходимых вещей, убогость. Даже занавесок на окнах не было.

И, виртуозно ускользя от милиционеров и фининспекторов, всего за полтора месяца я заработал столько, сколько, например, за полгода перед тем в театре. И купил себе: велосипед, приличную радиолу, костюм, часы, 2 рубашки, лыжи, плащ, брюки, ботинки, носки, белье, тюлевые занавески на окна, дрова (да-да, у нас все еще была печка). И даже кое-какие деньги еще и остались на первое время – до тех пор, пока не начал трудовые рекорды бить на заводе. А на заводе, кстати, мне поначалу нравилось: я ведь там даже несколько профессий – в порядке исследования жизни – освоил. Станочник, слесарь-сборщик, подсобный рабочий, грузчик...

И вот – тогда еще станочником был – мне, наконец-то, опять позвонила Рая. И мы, разумеется, встретились. И тут вот что было. Слушайте, слушайте все!

Не знаю уж, что ее ко мне тянуло, несмотря на позорную

мою неумелость. Но позвонила ведь и пришла! Лучше даже стала, чем в прошлый раз: цветущая, красивая, уверенная в себе. Что-то у нее в жизни, наверное, изменилось. «Класс А» – вот как выразился, не вполне для меня понятно, сосед, врач-гинеколог, увидев ее случайно в коридоре. А мой сосед не только по профессии, но и по жизненному опыту был профессионалом в этой пикантной области.

Идти на завод нужно было в ночную смену. Из дома значит – в одиннадцать двадцать вечера, самое позднее. Пришла же она часов этак в восемь. Выпили чуть-чуть, я ей что-то о своей новой работе рассказывал, показал с гордостью руки, изрезанные металлической стружкой и острыми краями деталей – я этими трудовыми ранами почему-то очень гордился. Вообще гордился своей работой – получается ведь, и неплохо, я действительно рекорды бил, хотя, как потом оказалось, напрасно. Нормировщики с секундомерами вокруг забегали и нацелились нормы производственные повышать, а зарплату, естественно, снижать. То есть по чисто советскому принципу: выжимать из тружеников как можно больше, а платить как можно меньше. Чтобы, значит, «производительность труда при социализме» неуклонно росла. Но если я, здоровый парень, могу выполнить норму, то женщины, которые на тех же станках работали, делали это с трудом, и получалось, что я своими рекордами жизнь братьям и сестрам по классу не улучшаю, а ухудшаю. Пришлось поскорее опомниться и пыл свой трудовой умерить. Ну, а гордость за

свои способности все равно осталась.

Короче, выпили мы чуть-чуть, поговорили, осталось часа полтора. Но перед тем, как чудесным делом заняться, поставил я на всякий случай будильник на без четверти одиннадцать: мало ли, вдруг увлечемся или уснем... А опаздывать на завод нельзя, у нас с этим делом строго. И вот...

Не знаю, почему так получилось. Может быть потому, что я на заводе рекорды бил и поэтому чувствовал себя уверенно; может быть оттого, что времени оставалось немного и витать в облаках некогда; а может в том дело, что периодически на будильник смотрел и таким образом чрезмерное волнение перед сдаваемым экзаменом как бы гасил... Но только получилось на этот раз все совсем по-другому. Ну просто слов нет, как все хорошо получилось. Не вскакивал я на этот раз, как кавалерист в седло. Наслаждался красотой божественной и радовался. И не торопился. И только чуть позже спокойно и плавно к дальнейшему приступил. Постепенно, медленно, не торопясь...

Так и раскрылся навстречу мне волшебный и нежный ее цветок – влажный, горячий, словно зовущий и ласково привечающий. И внезапно вдруг в тесном и сумасшедше волнующем ее раю я оказался, а лицо, глаза и губы ее тем временем продолжал целовать – и губы эти тоже навстречу моим губам открывались, и встречали меня ласково, и привечали. Ну просто Бог знает что тут с нами обоими стало – мы словно в какой-то теплой, солнечной реке плыли вместе, и мед-

ленно так, счастливо и спокойно, обнявшись тесно и даже как бы сливаясь друг с другом, один в другого перетекая. И свободно так, и легко.

И ощутил я молниеносно, мгновенно, что из обиженного, прибитого лишениями всякими, задвинутого и несчастного, чуть ли не полуимпотента вдруг чуть ли не профессором заветного этого дела стал – все делаю, как надо, все правильно, вот же, раскрылась дверь, и мгновенно все изменилось.

То есть ни о чем натужно, настойчиво не думал, не считал, что это какой-то экзамен – и она ни о чем другом, кроме радости этой, кроме желания нежной, ласковой быть, меня обнять и к себе приблизить, тоже не думала... Вот все и получилось. Как же просто, Господи, Боже мой, промелькнуло в сознании, помню, но и на этой мысли я не заикливался, а просто плыл и плыл в ошеломляющем блаженстве. И радовался.

Господи, думаю теперь – в который уж раз в своей жизни! – что же мы творим над собой, как же мы изгаляемся над своей жизнью, что только ни выдумываем, как только ни выпендриваемся – лишь бы не жить нормально, не испытывать лучшее из того, что можем, не следовать тому, что с таким неиссякаемым постоянством, безграничным терпением предоставляет нам мать-Природа. Страх, лень, глупость... Ну, да ладно, обо многом еще рассказать нужно – вернемся в прошлое.

Музыка это была. Божественная, великая музыка сли-

ния наших тел и, конечно, душ. И представить немислимо, что было бы на сеновале тогда, в августе, если бы я был по-смелее, поразвитее, что ли. Но и теперь все равно это была божественная, великая музыка. Она, любимая моя девочка, молчала, только дышала напряженно и подчинялась мягко, и двигалась мне навстречу в блаженном музыкальном ритме, и гладила мою спину, и прижимала меня к себе, и стонала, и вздрагивала периодически, и не было никаких сомнений в том, что все это ей очень нравится, что я делаю хорошо; не только для меня, но и для нее это важно, мы заодно... Вот о чем я мечтал столько лет! Не ошибся в своих надеждах, в вере своей – вот так оно и должно быть...

А когда будильник зазвонил – куда ж денешься... – я дотянулся до него рукой, не уходя от Раи, и кнопку нажал. И через несколько минут только позволил себе разрядиться, закончить потрясающую, божественную эту мессу – и великий вихрь словно подхватил меня, вознес в небо, ослепил на миг и плавно, бережно опустил на землю. Точнее – на кровать, где мы с этой потрясающей девушкой были.

– Пора, милая, – сказал я. – Пора, ничего не поделаешь.

Послушно, с детской какой-то готовностью она тоже начала одеваться, и я заметил, что легкая улыбка не сходит с ее лица.

– Столько острых ощущений, столько острых ощущений, – сказала она, по своему обыкновению шутя и смущаясь одновременно, натягивая трусики свои, а потом чулки.

И по счастливой улыбке, по сияющим глазам и щечкам розовым было ясно: так оно, несомненно, и есть.

«Наконец-то победил, – подумалось мне. – Наконец-то по-настоящему. Даже не верится».

Чуть не бегом до автобусной остановки бежали. И ко времени в проходную я все же успел.

Легко понять, что чувствовал. Мало того, что вот теперь-то я и есть, наконец, мужчина – барьер и на самом деле растаял как будто бы, – но у меня к тому же есть теперь она, Рая! Потрясающая девушка – красивая, с отличной фигурой, совершенно великолепной грудью, попкой в высшей степени соблазнительной (запомнился момент, когда между кроватью и печкой протискивалась она к вешалке за своим пальто, и ее круглая попка так аппетитно пролезала, с легким шорохом натянутой шерстяной юбки...), с таким прекрасным лицом – радостным, живым, с сияющими, искрящимися глазами, – с нашими общими воспоминаниями о том августе, счастливом лете... Близкое существо, родное.

И воскресли в моем воображении и «Купальщица» Коро, и «Нимфа» Ставассера... И подумал я: а что если... Ну, конечно! Я ведь даже, когда уходили, спросил:

– А можно будет тебя сфотографировать без всего? У тебя такая фигура классная...

– Почему бы и нет, – сказала она, пожав плечами и улыбнувшись. – В следующий раз, если хочешь.

Разумеется, сердце у меня так и замерло.

Фотографией я, как известно, занимался уже давно, и даже первые снимки «обнаженной натуры» у меня были. Тоню сфотографировал, как ни странно – позволила, к моему удивлению, хотя близости у нас тогда еще не было. И еще соседку свою как-то уговорил, но плохо снял, бездарно – о чем речь впереди. И вот теперь... Неужели? Она, Рая, действительно великолепна – в предпоследний раз была как-то хуже, но теперь расцвела опять: я ведь в полумраке видел светящееся подо мной тело, отпечаталась божественная картинка. Разбросанные волосы на подушке, откинутае прекрасное лицо, белая шея, плечи и совершенно потрясающая, ослепительная грудь с темноватыми, умопомрачительными кружками и торчащими ягодками сосков... Похоже на сон. Неужели действительно в следующий раз?...

Ночью в цехе я ощущал себя словно в полете. Да ведь это же первая настоящая встреча с женщиной у меня была. И с какой женщиной! Легкость в теле необычайная, усталости никакой, голова свежая: подъем, прилив сил, петь от радости хочется. Мелькали в памяти картинки-воспоминания: ее вздох, стон, поворот лица, нежная рука гладит мою спину, бархатная нога, которую я обнял одной рукой – она закинута на меня, и я просто таю от ощущения ее покорной расслабленности, удивительной гладкости кожи, – а там, ниже и вообще настоящая бездна блаженства: влажно, скользко, тепло, уютно... Восторг!

А на другой день, когда дома уже успел отоспаться после

ночной смены – два звонка в коридоре: ко мне. Открываю парадную дверь: она! Сияющая улыбкой, благоухающая, веселая – праздничная!

– Я на минутку. Извини, что без звонка, я не могла не прийти. Хотела тебя увидеть.

И цветок протягивает – гвоздику. Вот это да.

Ничего не успели, конечно, она в обеденный перерыв прибежала, но зато капитально договорились, что через три дня – в субботу – она придет пораньше, днем, и останется у меня на всю ночь. А накануне, в пятницу, позвонит.

Значит, ошибся я в своих муках, сомнениях, в скованности своей, когда лежали, как статуи, а она почему-то была такой же, как я, и я подозревал даже, что у нее тоже несладко, и она тоже думает о не очень-то удачной жизни своей, а потому и не помогает мне ничем – то есть мы с ней как бы и близки, больше в горе, чем в радости?

Нет, граждане-соотечественники. К сожалению, не ошибся.

В следующую ночь на заводе, во время смены, вышел я, пardon, в туалет и заметил с недоумением, что самый кончик моего нежного, но вполне доказавшего свою состоятельность и выносливость инструмента опух и красный. И какое-то неудобство внутри ощущается. Словно что-то мешает. И даже немножко больно, когда это самое, «по-маленькому»... Странно, подумал я. В чем дело? Может грязь какая-то случайно попала – на заводе ведь полно грязи: желез-

ная стружка, опилки, масло, эмульсия... Стоя потом за станком, я ощутил, что там, внизу у меня, как будто даже и выделяется что-то. Пошел в туалет, посмотрел. Да, действительно. Муть какая-то. Что такое? Может быть, в ту ночь великолепную просто слегка натер? С непривычки-то...

К утру не прошло. И к вечеру на другой день тоже. Даже плавки пришлось надеть вместо трусов, чтобы не телепалось и не прилипало. Все равно больно, не помогло.

Вообще-то я читал, что если это «то самое» («полторы окружности» из анекдота: площадь одной окружности это сколько? – Два пи-эр... – А полторы если, то сколько будет? То-то...) – так вот если это оно, то как раз и проявляется день на второй, на третий. Неужели?! В эту следующую ночь стало не лучше, а хуже. Сделать «по-маленькому» и вовсе мучительно...

И утром после смены я направился в поликлинику нашу районную – знал, что есть там «кожное отделение».

Полный, высокий, средних лет мужчина в белом халате – врач-кожник – глянул, пальцем провел по головке, понюхал и велел мне помочиться в банку. А сам, вымыв с мылом палец, сел писать «историю болезни». Ему уже было все ясно.

То, что я с трудом и болью выдавил из себя в банку, было мутным, там плавали какие-то нити, хлопья. Врач глянул лишь мельком и велел вылить в раковину.

- Что у меня? – не очень-то бодрым голосом спросил я.
- Триппер, что, – сердито сказал он и добавил: – Руки вы-

мой как следует. Глаза не трогай, смотри, а то и туда перейдет. С кем последнее сношение было? Когда? Давай-давай, говори, а то лечить не буду. Так уйдешь. И в милицию сведения передам. Ее все равно найдут, учти, но пока искать будут, она других заразит, имей в виду.

Адреса ее я не знал. Телефона тоже. Но торжественно пообещал, что как только она позвонит – а она завтра должна звонить, сегодня четверг, – я встречу с ней и приведу сюда, непременно. Понимаю же, как это важно.

– Ладно, смотри, – сказал врач. – Обманешь – тебе ж хуже будет. И другим, повторяю, учти. А теперь спускай штаны и трусы тоже, давай-давай, и сюда вот ложись на живот, задницу свою подставляй. Удовольствие получил, теперь расплачивайся...

Укол, потом еще унижительная процедура – пальцем в попу...

Рая позвонила, как обещала. Пришла. Был конец дня, я быстро объяснил ей все, и она тотчас согласилась идти вместе к врачу.

– Ну ведь как чувствовала! – сокрушалась она по дороге. – Как чувствовала, что он такой, по поведению чувствовала...

– Кто? – спросил я.

– Да этот, как раз перед тобой. Дурак. То ли Миша, то ли Гриша, я даже имени толком не помню. Прямо в парадном, стоя. Он после магазина меня провожал, после смены... Ну не хотела же, как чувствовала! Дура я. Поддалась. Ты уж из-

вини...

К врачу мы не успели, прием закончился. Она торжественно пообещала, что пойдет в свою поликлинику, обязательно!

И исчезла на какое-то время – не звонила и не приходила.

Минуло что-то около месяца, меня вылечили окончательно, хотя врач сказал, что я не должен «вступать в половую связь» полгода, как минимум. За что я наказан, я так и не понял. Только потом, потом... Но это – потом.

Опять приехал Арон и попросил пожить у меня несколько месяцев. Однажды я пришел с завода после дневной смены, и Арон дал мне записку. Приходил следователь из милиции, оставил записку и просил обязательно зайти. Я зашел.

Разыскивали ее. Знали, что она у меня бывала. Оказывается, она заразила не только меня, а в кожном диспансере так и не появлялась. Кроме того, как сказал следователь, обвиняли ее в воровстве.

– У вас никакие вещи не пропадали? – спросил он меня.

– Нет, что вы. Да я вообще уверен, что она не...

– Никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца, вы уж мне-то поверьте, – сказал он и посмотрел на меня печально. – Никогда и ни в чем. А вы что же, хорошего мнения о ней?

– Да, хорошего. Хотя и случилось это у нас, но... Она как-то говорила, что живет с бабушкой, отца-матери нет как будто...

– Да, у нее дома беда. Отца ведь вообще не было официально, мать спилась. С бабушкой жили вдвоем, в бараке. Потом по мужикам стала болтаться – девка красивая. Ну, вот и... Законный финал. Жалко, а судить-то, наверное, будут. Она ведь не одного тебя заразила. И вещи брала.

– И многих заразила? – спросил я, судорожно глотнув.

– Восемьрых, включая тебя, наверняка. А может и больше. Ну, ладно, иди. Если что, вызовем. Подпиши вот здесь...

Меня так и не вызывали.

С тех пор я больше никогда не видел ее. И ничего о ней не слышал.

Вот такой была вторая женщина в моей жизни. Но все равно я испытываю к ней – благодарность. Ну, и сочувствие, разумеется. Куда ж деваться?

# Стефан Цвейг и Казанова

Да, как-то все шло синхронно... Я имею в виду встречи с девушками и мое писательство. Только после дебюта с Тоней я написал окончательно – перестал без конца переделывать – свой первый рассказ, а вскоре потом и второй. Конечно, они были «несерьезны» с общепринятой точки зрения – о рыбной ловле, о природе, чуть-чуть о девушках, если подойти формально. На самом же деле – о восприятии жизни, об истинных ее ценностях, с моей, разумеется, точки зрения. Можно со мной не соглашаться – каждый имеет право на свое мнение по этому поводу, – но для меня то, о чем я писал, было важнее всевозможных «производственных» и уж тем более «социальных», «идеологически выдержанных» тем, которые особенно приветствовались в советской литературе. Я не лгал, ничего не выдумывал, я старался написать так, как видел и чувствовал: это и есть, по моему глубокому убеждению, самое главное. Да и кто вообще осмелится утверждать, что знает абсолютную истину? Глупость! Я писал о том, что для меня действительно было важно, чем жил, – бывший школьный отличник, студент Университета, не принимающий «принятый» порядок вещей, пытающийся разобраться самостоятельно, без навязываний и подсказок!

Вскоре был написан и третий маленький рассказ, он назывался так: «Сверкающая гора окуней». Как будто бы тоже

о рыбной ловле, но на самом деле о том же, о чем первые, да еще и о об искренности, честности. Герой – двенадцатилетний мальчик, наивный, то есть **НОРМАЛЬНЫЙ**, который в очередной раз сталкивается с ложью взрослых и не может, не хочет ее принять. Конечно, разумеется, я прекрасно сознавал свою «наивность» – и в отношении печатания своих сочинений в великой нашей советской стране тоже! – но не собирался «перестраиваться» и играть в общепринятые игры. «Лучше никак, чем кое-как» – вот, пожалуй, правило, которое всегда, конечно, осложняет жизнь человека, но без которого жизнь, мне кажется, вообще не имеет смысла.

Для утешения я не раз перечитывал, например, все тот же «рассказ из студенческой жизни» С.Т.Аксакова под названием «Собирание бабочек», входящий в его «Детские годы Багрова внука». И это не только он, мой соотечественник, живший лет сто назад, бродил по таинственным дебрям Болховского сада или, позабыв все на свете, кроме желания поймать какую-нибудь прекрасную бабочку-ванессу, бегал с «рампеткой» (то есть сачком) по Арскому полю – это и я вместе с ним, а может быть и вместо него. Это не он – вернее, не только он, – а и я мечтал повстречать и поймать Кавалера Махаона или Подалирия и с замиранием сердца слушал лекции профессора натуральной истории Карла Федоровича Фукса... А Бунин? А «Мартин Иден» Джека Лондона? Все это наверняка автобиографично. Да и вообще все лучшие – настоящие! – произведения писателей это навер-

няка пережитое ими, а если и додуманное, домысленное, то опять же соответственно их личным, искренним убеждениям. Всякий выпендрож, все эти самовлюбленные «авангарды» и словесные выкрутасы казались мне ни чем иным, как фиговым листочком беспомощности и плодом желания не быть, а казаться. Не говоря уже о чисто «советской» литературе – надуманных «производственных» романах и всей этой лживой, псевдооптимистической чепухе, которую, тем не менее, партийные идеологи наши, наоборот, считали «отражением жизни». Ничего нет лучше самой жизни, свободного и естественного существования в этом прекрасном мире – с бесконечными возможностями, данными нам самой Природой! Мы же – словно заколдованы, заморожены чем-то или кем-то, опутаны страхом, глупостью, ложью.

Совершенно то же и с девушками. Я чувствовал, что здесь вообще сплошная ложь, все извращено и изгажено, мы и здесь почему-то с тупым упорством Рай превращаем в Ад, но как вылезти из соплей и грязи я, конечно, не знал. Хотя мечтал. И пытался.

Стал я периодически ходить в Ленинскую библиотеку. Миллионы, миллиарды книжных страниц – сконцентрированные мысли, жизненный опыт тысяч разных людей... Однажды у Стефана Цвейга прочитал повесть о Казанове. Она потрясла меня. «Я жил философом», – таковы были, по Цвейгу, последние слова величайшего из любовников, не унижавшего женщин, не «завоевывавшего» их, как, напри-

мер, Дон Жуан и многие, многие из его жестоких и циничных последователей, а – любившего и дававшего им радость. «Девять десятых наслаждения мужчины при общении с женщиной – это то, что испытывает она» – вот девиз настоящего мужчины, согласно внутренним убеждениям Казановы. Как величайшее откровение читал я сочинение Цвейга, а потом целыми страницами принялся переписывать в свою тетрадь. Купить эту книгу в Советском Союзе было совсем нереально, а если и разыскать на «черном рынке», то просто не хватит денег. Я был потрясен тем, что читал, это удивительно соответствовало тому, что думал я, при всей убогости, ничтожности моего опыта по этой части. «Казанова дарит наслаждение женщине, и они высоко ценят это: его благодарная любовница приводит свою подругу, мать приглашает дочь, чтобы приобщиться обеим к пленительному празднику жизни... Сердце какого мужчины не вздрогнет от белой зависти к великому любовнику, который готов оставить все, едва лишь услышав мелодичный смех за дверью гостиницы, в которой он случайно остановился. И если обладательница этого смеха тронет его сердце своим обаянием и красотой, он не отступится до тех пор, пока не добьется обладания ею, пока не даст ей того, что может дать только он – великой радости бытия. Он никогда не унижал женщин, не пользовался ими, как его антипод Дон Гуан, он их любил...»

Меня потрясло, как серьезно пишет Цвейг о Казанове. Ведь не только у нас в Советском Союзе, но и во всем мире

фактически взаимоотношения мужчин и женщин, особенно половая близость, всегда считались чем-то несерьезным, фривольным, легкомысленным, не заслуживающим внимания нормального, здорового человека. Наука, какие-то «деловые» отношения, то есть «бизнес», строительство, производство чего-то материального – да, это серьезно и важно. Производство машин, кастрюль и вспашка зяби, например. Ну, семья, где воспитываются дети. Хотя вопрос воспитания детей тоже по большому счету всегда как-то отодвигается в сторону, и главным в воспитании всегда считалась система запретов и наказаний. Совсем от взаимоотношения полов уклоняться бессмысленно – природа берет свое, – но максимально ограничить внимание к этой стороне жизни старались всегда. Даже совершенно безобидные с теперешних позиций в этом отношении рассказы Мопассана считались чем-то не вполне приличным, на грани легкомыслия, фривольности, недозволенности. Нечистоты.

И вот вдруг такое откровение у Цвейга по отношению к человеку, смысл жизни которого, очевидно, заключался как раз в этом: взаимоотношения мужчин и женщин, причем как раз половые, то есть эротические! Его целью было ведь не плодить детей – его целью была радость жизни и ее познание. «Я жил философом...». Казанова, по мнению Цвейга, был не только философом, но, несомненно, поэтом. Меня поразила тот поток искренней симпатии, восхищения, любования жизнью профессионального любовника, явная «белая» за-

висть к нему со стороны писателя вполне серьезного, который высоко котирировался в обществе и вовсе не считался легкомысленным. Он ведь писал о многих великих людях – о Магеллане, Стендале, Достоевском, Мессмере, Фрейде...

Это было открытие. Я-то ведь всегда догадывался, что скрываемая, «стыдная» сторона жизни очень, очень серьезна, с нее начинается все! Мы же родились все в результате «стыдных» взаимоотношений! Как же они могут быть несерьезны и не важны?! Закрывать глаза, стыдливо задерживать занавес, гасить свет – разве это выход? Совокупляются, рожают детей и растят их все животные – обезьяны, кролики, медведи, шакалы, – чем-то ведь отличается человек от них! Чем? Разве не важно это исследовать и понять?

А у меня лично, к примеру... Да ведь эта сторона жизни важнее, чем все университеты вместе взятые. Личность человека – мужчины, женщины – формируется через это. Как же можно не отнестись всерьез? Что мне сам по себе университет, зачем? Что мне «материальная обеспеченность», если я не знаю, как жить так, чтобы она, жизнь, приносила радость? Человек живет в обществе – как же добиться, чтобы жизнь с другими была не в ненависти и зависти, а в согласии и любви? То, что я видел вокруг себя, главным образом была ложь. Вся история человечества пропитана ненавистью. Почему? Не оттого ли, в частности, что в одном из самых главных вопросов жизни – мужчина и женщина – торжествовало всегда и торжествует до сих пор именно это: ненависть

друг к другу, непонимание, противостояние, борьба и – бесконечная ложь?

У меня же, увы, после Раи пока что никого не было. Хотя просто встречи с девушками иногда бывали, но они не заканчивались ничем... Я все еще тыкался, как слепой котенок. Смешно, конечно, хотя бы даже отчасти сравнивать себя с Казановой или брать его себе в пример – с моими-то ничтожными материальными возможностями, в нашей замордованной партией и правительством стране, где уже столько попыток сделано, чтобы превратить женщину в рабочую силу и инкубатор для производства все новых «строителей социализма», – какая уж тут радость жизни и приобщение к празднику полового соития... И все же я был уверен: истина в том, что писал Цвейг о Казанове. Мы плаваем в море лжи. Всеми силами надо из него выбираться, чего бы это ни стоило. Иначе просто и жить нет смысла.

Как-то однажды в газете увидел объявление о творческом конкурсе в Литературном институте имени А.М.Горького. И подумал: а что если попробовать? Сам институт мне, пожалуй, не нужен, но интересно: как оценят на творческом конкурсе мои первые робкие сочинения? В несколько журналов, кстати, я их уже предлагал – полный финиш. Там, как я понял, просто не знали, что с ними делать – они ведь, с их точки зрения, как бы и ни о чем... Кроме упомянутых трех рассказиков, был у меня еще и очерк об Алексее Козыреве – как познакомился с ним на рынке, как поехал к нему в Ма-

лое-Семино, что узнал... По условиям конкурса нужно было прислать не меньше 35 страниц машинописного текста. Можно и неопубликованное. Как раз столько у меня и набралось. Запечатал я их в конверт и послал.

И каково же было мое удивление, как писали в старых русских романах, когда вдруг получил маленький конверт с официальным уведомлением, что творческий конкурс я выдержал и допущен к собеседованию, которое проводится перед экзаменами, которые, в свою очередь, состоятся в... И так далее. Трудно было поверить своим глазам. Может, ошибка?

Поехал в институт, удостовериться и посмотреть. Все верно, я в списках. Поговорил с человеком, который учится здесь уже три года. Он настойчиво убеждал, что пройти творческий конкурс нелегко – здесь десятки человек на одно место! – а следовательно мне нужно немедленно начать серьезнейшим образом готовиться к экзаменам и к собеседованию.

– Люди со многими публикациями творческий конкурс порой годами пройти не могут, а вы с неопубликованным... Вам просто сказочно повезло! Я бы на вашем месте... На следующий год вам вряд ли так повезет, вы что! Куйте железо, пока горячо!

Но я поступать пока что не собирался. Не забылся Университет, я всерьез опасался, что здесь тоже будут учить меня писать не то, что думаю, а что надо по каким-то «социальным» причинам, «в виду серьезного международного поло-

жения», согласно учению марксизма-ленинизма, потому что «Партия велела» и так далее. Да, конечно, рассказы мои о другом, а их, тем не менее, оценили, но... Одно дело конкурс, а совсем другое...

И я на собеседование не пошел.

Но прошел год – я опять работал на заводе, хотя и соби-рался окончательно уходить и заниматься только писатель-ством и фотографией. Решил опять послать рассказы на кон-курс, и если пройду, то, может быть, попробовать поступить: надо же иметь диплом о высшем образовании («поплавок»)! К тому же в институте, я надеялся, будут учить не только вер-ности партии и правительству, но дадут какой-то комплекс знаний.

И – вот удивительно! – опять прошел творческий кон-курс!

Собеседование выдержал удачно. Потом сдал экзамены и – поступил на заочное отделение. Не знаю, правда ли, но го-ворили, что первоначальный конкурс был – сорок человек на одно место...

А в Ленинскую библиотеку продолжал регулярно ходить. Туда ведь, ко всему прочему, ходило много молодых симпа-тичных девушек, а потому сама атмосфера всегда была для меня праздничной: милые лица, мимолетные веселые взгля-ды, очаровательные фигурки, улыбки, аромат духов... По-стоянное напоминание о том, что... Сад в цвету, одним сло-вом. И – вдруг?... Может быть...

# Лариса

В тот раз в читальный зал пришел вечером, в субботу. Накануне на заводе настроение было мрачное, ночью, утром и днем тоже. В институте мне уже очень не нравилось: ни одной экзаменационной сессии пока еще не было, но были уже «творческие семинары», и они произвели на меня впечатление самое тягостное. Мне казалось, что это сборище слепых и глухих, и я уже задумывался над вопросом: почему прошел творческий конкурс? Да еще дважды! Не было ли там какой-то ошибки все же?... Надо бы сходить на кафедру творчества и, если позволят, поинтересоваться рецензиями, которые наверняка же писали на присланные мною рассказы. Почему меня вообще приняли? Ведь другие из принятых пишут совсем о другом, а мои рассказы на первом же «обсуждении» так раздолбали, что я до сих пор не могу прийти в себя и не могу заставить себя ходить на эти самые еженедельные «семинары». Все – то же самое... Молодые ребята, а мололи жуткую чепуху. Уже зомби, что ли?

В общем читальном зале длинные широкие столы, и за них, друг напротив друга, садятся читающие. Сел и я, взял какую-то книгу, раскрыл. Настроения читать совершенно не было, я огляделся и почти напротив увидел весьма милую девушку, брюнетку в коричневой кофточке. Она вдруг тоже подняла глаза от какой-то книги, что была перед ней, наши

взгляды встретились... Искра сверкнула... Она отчасти похожа на мою сестру Риту, подумал я, но вдвое моложе и красивее. И вот сначала как бы случайно, ненароком, а потом все чаще и открыто мы уже посматривали друг на друга, а вот она уже и весело улыбнулась... Мне. Все-таки мы честно досидели до звонка в половине одиннадцатого – предупреждение о скором закрытии читального зала, – она встала, собрала свои книги, довольно большую стопку, и пошла сдавать. Я тотчас взял свою единственную книжку и, обойдя стол, стал догонять девушку. Тотчас отметив, разумеется, что фигура у нее отличная – и грудь, и талия, и все, что ниже... А потом она, видимо, нечаянно уронила маленькую книжечку из своей большой стопки, я тотчас кинулся, поднял и протянул ей. Она, конечно, заулыбалась. Она сдала свои книги, сдал и я, тотчас оба направились к выходу. Догнал ее уже на улице.

– Девушка, нельзя ли получить у вас консультацию по литературе? У вас было так много книг, вы, наверное, все знаете...

Знакомство состоялось легко и быстро – она рассмеялась и согласилась «дать консультацию», – вместе ехали в метро, говорили о литературе, об институтах, моем и ее – она собиралась поступать в университет на филологический факультет.

Лариса.

Заговорившись, проехали остановку – ей нужно было на переход, а я с ней за компанию, – потом, возвращаясь, с раз-

говорами проехали опять, а сделав переход, сели по рассеянности не на тот поезд, в обратную сторону. Вернулись, доехали, наконец, до ее остановки, вышли из метро, я решил ее проводить до самого дома.

Живет она, оказалось, далеко от метро, шли минут тридцать. Было холодно, и луна пряталась в холодном тумане. Лариса была легко одета, но мужественно терпела. Все время говорили о чем-то, шли по темным пустынным улицам и переулкам, где на тротуаре пластались черные тени деревьев, а в листве прятались желтые фонари – и листья сплетались в зелено-золотые светящиеся кружева. Наконец, пришли – она живет около Лефортовской тюрьмы: совсем рядом мрачно темнели стены... Людей не было вокруг, и была полная тишина. Мы постояли немного, я чувствовал нерешительность, никак не мог перейти от бесконечных разговоров к другому. Из темноты под деревьями около ее дома, где мы постояли, прощаясь, несколько минут, она повела меня назад, на свет, чтобы тоже немножечко проводить, но, когда проходили под тенью дерева, я остановился. Решаясь, сказал что-то пустое, посмотрел на звезды... И, наконец, как во сне, обнял ее, пробормотал что-то насчет желания поцеловать, она ничуть не отпиралась. Так простояли, обнимаясь и целуясь не меньше получаса, думаю. Я целовал ее в губы, шею, она с готовностью отвечала и почему-то нервно посмеивалась время от времени. Я нечаянно уронил на асфальт свою тетрадь, Лариса, засмеявшись, бросила на нее свою су-

мочку. Целоваться она явно не умела, а кожа ее лица при ближайшем рассмотрении и целовании оказалась не совсем гладкой, в мелких прыщиках. Такие бывают от воздержания, тотчас подумал я. Но почему?... Ведь она симпатична... А глаза просто магические да и остальное в порядке – так почему же?... Я думал так о ней, забыв о себе: про меня ведь тогда тоже наверняка многие думали: почему он такой нерешительный?...

На метро я конечно же опоздал, часа два шел пешком до дома, и радость все-таки распирала грудь, хотя, как ни странно, что-то и омрачало ее, но я никак не мог понять что.

Мы стали встречаться, она приходила ко мне, мы горячо спорили на литературные темы, нам не хватало времени, и я почему-то никак, ну никак не мог перейти от слов к делу. То есть к телу. Дурацкая нерешительность! Ну, вот, приходит она, садится, начинается у нас очередная дискуссия на литературную тему – впечатление такое, что нет для нее сейчас ничего важнее на свете, к тому же суждения ее оригинальны и весьма претенциозны, безапелляционны, это начинает меня раздражать, спорим порой, что называется, до хрипоты... И только когда она уходит, я с недоумением и растерянностью вспоминаю, что ведь у нее отличная фигура – грудь великолепная, высокая, а я ее даже не видел в натуре... И зачем мы переливали из пустого в порожнее? Но вот она приходит в другой раз – и все начинается снова... Знала она, разумеется, ВСЕ и, конечно же, ЛУЧШЕ ВСЕХ – особенно в

литературе. Пушкин у нее был не Пушкин, а Александр Сергеевич – уважительно, хотя и несколько фамильярно. Маяковский – совсем уж попросту: Влад. Есенин – с оттенком нежности: Сережа. Советской литературы для нее не существовало вообще, в принципе – Сережа и Влад были явления чисто случайные. Шолохова она «не воспринимала» (я подозревал, что и не читала). Паустовский – «литературщина и слюнтяйство». Фадеев с его «Молодой Гвардией» – «сексот и пьяница». А Ильф и Петров – писатели «достойные», но, конечно же, «не советские». И так далее... Мне было смешно, однако хотелось ей помочь – она же собиралась на филфак поступать! – но никаких аргументов она просто-напросто не воспринимала. И так не только в литературе. Во всем. Кроме того, у нее светились дырки на локтях кофточки, но она их не зашивала принципиально, считая недостойными ее внимания «мелочами жизни» – из принципа! Ибо дырки были как бы символом независимости, свободы, признаком высокой духовности...

С растущим удивлением я день ото дня убеждался, что ценит она в себе, увы, не то, на что я как раз обратил внимание еще в библиотеке – глаза, волосы, попка крепкая и округлая, высокая грудь, стройные ноги, живость, – а... интеллект. То есть именно то, в чем она была не так, чтобы очень уж безнадежна, но все же далеко не столь высока, как считала. Главное же, что высоте этой дико мешал ну просто убийственный выпендрёж. Руки она мыла тоже, мне кажется, далеко не так

часто, как надо бы, несколько раз они у нее просто-напросто пахли рыбой... Самым же губительным для наших пока еще достаточно добрых, но никак не переходящих во что-то более близкое отношений было то, что она однажды решительно и недвусмысленно заявила:

– Ты меня вообще-то устраиваешь не чем-нибудь, а своим интеллектом. Глупых мужчин для меня просто не существует!

Нет, я, конечно, ничего не имел против того, что меня не считали за глупого, но этого было все же как-то маловато.

Однажды я сумел слегка напоить будущую филологиню, глаза ее чарующе заблестели и я, наконец, решился: поднял со стула за плечи, обнял как следует, прижал к себе, стал целовать. Руки мои поехали ниже, я с радостью первооткрывателя ощутил ладонями ее гибкую талию, а потом и крепкий, упругий зад. Потом принялся раздевать ее, начав с кофточка. Продолжила она сама – решительно, быстро и до конца: решение мне отдаться было, очевидно, принято ею заранее.

И вот он настал, великий момент, я с волнением, почтением, трепетом, нежностью начал проникать в ее молодое и крепкое тело... Увы, тотчас пришло на ум совершенно чеховское: эта молодая женщина считала себя настолько возвышенной и чистой морально, что совершенно не заботилась о своей физической чистоте. Да, с печалью и даже каким-то мистическим ужасом воспринял я очередную прозу. Боже мой, неужели всегда только так?... Когда все кончилось, а

кончилось, естественно, довольно быстро, я лежал рядом с ней расстроенный, опустошенный и думал: Тоня мариновала меня черт-те сколько, а потом был шантаж с абортom и полнейшая антисанитария; Рая заразила «стыдной болезнью», а потом был вызов к следователю. Теперь же мне досталась супер-эрудированная и отчаянно эмансипированная Лариса, так неуважительно относящаяся к своим женским прелестям, а, следовательно и к моему мужскому достоинству. Что дальше? И это все после романтических вздохов по Алле, райских фантазий и снов, любования «Нимфой» Ставассера и «Купальщицей» Коро. Почему-то вспомнилось тут же, что живет Лариса рядом с тюрьмой...

Вероятно, чувствуя мое разочарование, она попыталась слегка его приуменьшить и как-то очень по-деловому продемонстрировала мне то, что теперь называют на иностранно-медицинский манер: «оральный секс» и что я, как известно, уже отчасти испытывал давным-давно с девочкой со двора, а потом – в не так уж и давнее время – с мужиком, заплатившим мне за это десять рублей. Но то, что с девочкой, вспоминалось как бы в романтической дымке юности, а мужик делал это по крайней мере с пылом, чувством и нежностью, не говоря уже о том, что все-таки заплатил. Лариса же явно работала не ради секса, а ради принципа. И на публику. Публикой, естественно, был я. Она, похоже, вовсе не испытывала эротических чувств, а хотела и тут показать, какая она эрудированная, развитая и свободная. При этом не обя-

зательными для нее оказались и такие мелочи, как омовение бывшего в употреблении органа перед столь все же утонченно-дегустационной процедурой... Мне же ее неуклюжие действия казались претенциозно-бездарными, кощунственными даже, и я не радовался от ее натужных ласк, а злился.

Ну почему люди не отдаются спокойно, естественно и действительно смело своим истинным чувствам? – в который уж раз думал я. Мы все время играем кого-то или что-то вместо того, чтобы жить. И делаем все не для того, чтобы быть, а – чтобы казаться. Самое интересное, что потом, в многочисленных письмах, которые Лариса начала присылать мне по почте, она постепенно раскололась, и тогда выяснилось, что на самом деле все в ее чувствах было ровно наоборот: она хотела быть чувственной, страстной женщиной, мечтала об этом, но... боролась с этим, ибо этому как раз и противоречили ее железные интеллектуальные «принципы»! «Я ненавижу постоянную зависимость от...» – писала она, и за тремя точками угадывалось, ясно что: щедро подаренный ей природой нежный цветок... Который мог принести столько радости, если отнестись к нему с истинным уважением... Она же усиленно делала вид, что ненавидит его. Но письма ее становились все длиннее, все чувственнее – она изливала эмоции на бумагу: «Я завелась от того, что пишу, я... хочу тебя... я... кончаю...» При встречах наших, тем не менее, продолжалось все то же самое – словно не она, а какая-то другая женщина писала за нее письма. В конце концов я устал и уже

не хотел видеть ее...

## Несостоявшееся

О, Господи, какой же прекрасной могла быть моя жизнь еще тогда, несмотря ни на что! Если бы... Да, если бы, если бы...

Ведь моей третьей женщиной могла стать не Лариса, а Вера.

О ней, о Вере, я собирался даже писать рассказ и начал – когда расстались. С грустью и непонятной тогда тоской я описывал решающую, как теперь понимаю, нашу поездку на водном трамвайчике на Ленинские горы (как с Тоней, да, но не так...). Мы сидели на верхней палубе, смотрели по сторонам, а вокруг были тоже пары, и одна девушка, что сидела впереди с парнем, как-то недвусмысленно поглядывала на меня время от времени – как и я на нее, и это придавало мне приятную уверенность в себе. Вера, абсолютно не замечая этого, а, может быть, игнорируя, лениво и медленно по своему обыкновению говорила что-то, какую-то чепуху, тянула неприятным голосом, я делал вид, что слушаю, поглядывая изредка на нее вежливо, но больше просто смотрел, как у самого борта парохода проносятся мелкие грязные волны и ощущал, как на лицо изредка падают желтоватые брызги, потому что дул встречный ветер. И все чаще смотрел на девушку с парнем и, сладко замирая, думал, как это странно, что со мной вот толстая ленивая глупая Вера (говорливая,

ко всему прочему!), а не эта, к примеру девушка, которая с парнем. Худенькая, живая, милая – в моем вкусе.

«Толстая» – это конечно несправедливо, это я так. Потому что Верино тело мне как раз очень нравилось, особенно ее налитые груди и вполне заметная талия при соблазнительно выпуклой, в меру пышной волнующей попке. Наверняка в естественном виде Вера была просто великолепна. Глядя на всю эту роскошь, я даже испытывал спазмы в области горла и легкое головокружение, а руки мои тотчас ощущали трудно удерживаемую потребность немедленно обнять Веру, прижать к себе. Но я почему-то тотчас же себя сдерживал. Почему? Что-то постоянно останавливало меня, и я устал думать и анализировать, что именно...

Тогда, на пароходе, мы, подплывая к Горам, стояли в толпе у выхода, ожидая причала. Вера, слава Богу, умолкла, мимо медленно и близко проплывал зеленый и высокий парковый берег, темнело, и так как народу было много, мы стояли довольно тесно. И я очень явственно ощущал перед собой головокружительное тело Веры, а она таинственно, томно посматривала на меня, слегка оборачиваясь и сладко выгибаясь при этом.

Мы сошли с парохода, стало уже почти темно, мы шли среди деревьев парка, поднимаясь все выше, и я взял ее за руку, увел в сторону от тропинки, стал целовать. Вера тяжело дышала и отвечала на мои поцелуи, губы ее мне казались сладкими и спелыми, словно сливы, а полная, упругая спина

и все роскошное тело под шелковым зеленым платьем ходило мощными волнами. Я опустил свою руку, что обнимала ее талию, чуть ниже, и голова у меня закружилась, я едва устоял на ногах. Ладонь ощутила пьянящее, сказочное богатство упругой, здоровой плоти. Земля еще влажная, а трава жиденькая, пиджака у меня не было, чтобы подстелить. Жалкое это соображеньце удержало меня от того, чтобы повалить Веру, я не нашел ничего лучшего, как оторваться от нее и опять потянуть за собой, увлекая между деревьями наверх, к балюстраде... Все наверх и наверх...

Вот сейчас, теперь, пересматриваю в памяти ту – одну из многих подобных! – картинку и думаю: элементарный, простейший выход был тогда с Верой, именно в тот самый момент. Хоть попробовать, ну пусть даже не доводя до конца – ведь нравилась, нравилась же и отвечала на мои ласки! Чуть-чуть, совсем немного – и очередной исторический момент в моей жизни, возможно, наступил бы. И, наверное бы, продлился! Правда, потом выяснилось, что Вера, скорее всего, девственницей была тогда – ну и что?! Приблизить, сделать вполне реальным миг, который стал бы историческим и для нее! Вот, хотя бы, когда стояли среди деревьев, целуясь, и моя рука воровато скользнула вниз... Еще бы чуть пониже – и... Вот уже подол ее зеленого платья – смело под него! А потом, наоборот, выше – и вот уже пальцы мои, преодолевая край трусиков, достигают наверняка уже влажных, скользких и теплых складочек-лепестков... Райский, волшебный

цветок – подарок обоим... Торжествует природа, а с ней и мы двое, дети ее! Вспыхивает праздничный фейерверк, наша жизнь расцветает волшебными красками! Увы.

Увы!

Вместо несостоявшегося и описанного теперь, я, как уже сказано, потащил ее зачем-то наверх, к балюстраде. Устали оба, у меня и то дрожали колени, легко представляю, как устала она! Посидели на скамейке, затем я с трудом уговорил ее скорее идти к метро – убого рассчитывал на то, что мы все же поедем ко мне домой, и там... Но она хотела еще посидеть – устала, бедная, после быстрого крутого подъема...

Ко мне она все же поехала, но я так и не смог уговорить ее остаться на всю ночь. Да, честно говоря, не очень-то и уговаривал. Устал.

Но это было до. До Ларисы. Которая и стала третьей в моей жизни женщиной. С ней я имел-таки близость, но – вот беда! – она вскоре начала меня раздражать просто невыносимо... И наши отношения в конце концов перешли в эпистолярную форму – только с ее стороны, правда: я ответных писем ей не писал. Кончилось все письмом, в котором она сообщила, что влюбилась в паренька-заклученного из соседней тюрьмы...

Четвертой после нее могла стать совершенно очаровательная блондинка Лена. Вот она, думаю, вполне могла оказаться для меня Нимфой или Купальщицей. И должна была! Она, собственно, была подругой моего соседа Вадима, двадцати-

летнего парня, красивого, высокого, спортивно сложенного. Ей тогда было что-нибудь лет восемнадцать, и они с Вадимом, как будто бы, уже подали заявление в загс. Но тут вдруг спонтанно получилась у нас вечеринка с танцами, и на один из танцев – танго!... – я пригласил ее... Танго я всегда обожал за музыку страстную, сдержанную и за то, что не нужно истерически дергаться на определенном расстоянии друг от друга, а можно покрепче обнять и даже прижать к себе партнершу – это как бы входит в программу само собой, и не нужно каждый раз решаться, ставить перед собой задачу, оправдываться... И можно не говорить дежурные глупости, потому что лица располагаются слишком близко, иной раз даже слегка соприкасаются разгоряченными щеками, висками... Вот тут-то, слава Богу, умолкает тупой интеллект и начинает вступать в права мудрый и честный голос пола. А за соприкосновением тел подчас как раз и следует то самое – соприкосновение душ...

Мы слились тогда с Леной в одно, и я просто всем существом своим ощутил божественные – небольшие, нежные и, наверное, светящиеся во тьме (как в моем давнем сне) Ленины груди и все ювелирно сотворенное и, думаю, чистенькое, аккуратное тело ее (Нимфа – наверняка!). Наши тела и наши души, думаю, в тот момент засветились, вспыхнули, а Вадим это увидел. Ну и конечно занервничал.

Однако музыка кончилась. И пришлось нам с Леной разъединиться. Вадим тотчас схватил ее и уже больше не отпус-

кал. Что мне было делать? Ведь я помнил, что заявление они уже подали.

А между прочим – вот ведь совпадение! – Лена жила в том же самом переулке, что и Алла Румянцева, их дома были рядом... А забегаю вперед, скажу еще, что хотя они с Вадимом в скором времени и поженились, однако брак их длился недолго – она от него ушла. Чего, конечно, следовало ожидать: наш танец подсказал истину. Но кто ж из нас слышит и понимает такие подсказки?!

Для меня же танец не прошел даром: родился четвертый рассказ, я написал его буквально за два часа на следующий же день, встав рано утром перед заводской сменой. Назвал его так: «Ему было доступно все...». Доступно в воображении.

Да, вот так и стала четвертой женщиной в моей жизни не Лена, увы, а – Галя.

## Галя...

Тоже была вечеринка – у моего друга Славки, в подвале, – тоже легкая общая выпивка в компании и тоже танго. И тоже весьма симпатичная девушка восемнадцати лет: высокая, с длинными русыми волосами и большими задумчивыми серо-голубыми глазами. И тоже подруга одного из приятелей, хотя заявления в загс они пока что, слава Тебе, Господи, не подавали.

Наконец-то я весело обнаглел и после второго, кажется, танго пригласил Галю подняться наверх ко мне – не помню уже, какую придумал причину. Но наверняка уважительную.

Мы поднялись, вошли, и как-то все произошло почти мгновенно – Галя как будто только этого и ждала. Я лишь подвел ее к тахте, помню, и она тотчас же сама начала раздеваться. Разумеется, мне это очень понравилось – ни торговли, ни препирательств не было никаких...

Но было, увы, другое. Одежду сверху ни я, ни она, даже снять не успели – она так и осталась в кофточке и бюстгальтере, а я едва успел стянуть с себя вниз брюки вместе с трусами, – тотчас она крепко обняла меня и опрокинула на себя. Это хорошо, это бы даже очень похвально, однако так сразу я еще не успел почувствовать что-то впечатляющее, соответственное и собраться... Я внутренне только еще собирался настраиваться, а она вдруг начала мелко, но очень мощно

дрожать. «Как генератор,» – пронеслось у меня в голове. Я даже слегка растерялся. Собрал свою волю в кулак и напрягшись, я все же сумел проникнуть в ее разгоряченное тело, в горячую и скользкую бездну, – и тотчас дрожь ее стала настолько могучей, размашистой и волнообразной, что я чуть не скатился с нее прямо на пол. «Как старый компрессор на заводском дворе, рядом с нашим цехом,» – тотчас пронеслось у меня в мозгу, и я чуть не рассмеялся, одновременно злясь на себя. Еще почему-то стало ужасно жалко ее – она не нарочно ведь! – я принялся гладить ее нежно и успокаивать. А орган мой в недоумении и даже какой-то панике испуганно сжался, завял. Хотя перед этим наскоро выполнил свой священный долг – разрядился. Вот так фокус!...

Делать было нечего, мы привели себя в порядок, спустились вниз. Хотя предварительно я все же взял ее телефон.

Как бы то ни было, но Рубикон был перейден, и мы стали встречаться. В дальнейшем получалось лучше, чем в первый раз, но не на много. Для меня было совершенно непереносимым, что едва соединившись со мной и начав вибрировать, ее тело, а вместе с ним, конечно же, и душа тотчас же теряли со мной обратную связь – я абсолютно явственно ощущал: пыл ее относится к чему-то постороннему, отвлеченному, а никак не ко мне! Хотя она и старалась изо всех сил прижать меня к себе – так, что иной раз я едва мог вздохнуть. Но каждый раз я четко понимал, что это она не меня прижимает, а нечто вообще, нечто абстрактное. На моем месте мог быть

кто угодно, без разницы! Ну не могло же меня такое устраивать, правда ведь? «Не отбойный же я молоток, не поршень и не паровой молот!» – в сердцах и с обидой думал я каждый раз, когда мои отчаянные попытки успокоить ее нежными поцелуями, ласками не имели ровно никакого успеха. Она тоже чувствовала себя со мной некомфортно.

– Я только начинаю заводиться, а ты уже... – говорила она с грустью, глядя куда-то в сторону.

– Что делать, так уж получается, – вздыхал я и с мистическим каким-то почтением и с тревогой думал о том, что было бы, если бы она завелась по-настоящему...

Тем не менее, она относилась ко мне хорошо, встречалась с готовностью, какого-либо неуважения ко мне я в ней не чувствовал – человеческие отношения были у нас вполне на высоте. В одну из встреч она рассказала, что в детстве ее у родителей украли цыгане, воспитывали в таборе, потом она из табора убежала, но мать свою найти так и не смогла – жила у какой-то знакомой. Приятель, у которого я ее увел, добавил к этому, что точно знает: однажды Галю изнасиловали восемь парней, держали всю ночь, и, похоже, после этого она слегка сдвинулась. Ненависть к подонкам, жалость к Гале меня просто душили.

– Сволочи, гады, расстрелял бы таких, рука бы не дрогнула, – сказал я.

– Да, я тебя понимаю, но неизвестно еще, по чьей это было вине. По чьему желанию, – возразил приятель. – Насколько

я знаю, она была даже довольна. Встречалась потом то с одним, то с другим, то с несколькими не раз...

– Не может быть! – воскликнул я искренне.

– Может. И даже очень, – усмехнулся приятель. – Ты, наверное, многого еще не знаешь.

Запомнилось еще, что груди у Гали были большие, но мягкие и совершенно плоские, как бы сплюснутые. Как ни ругал я себя за идиотское сравнение, но они напоминали мне почему-то олады. Жалел я ее действительно искренне, от всей души, но для любви было этого, разумеется, мало.

# Зина

Итак, с четырьмя женщинами у меня уже состоялось. Формально.

Но говорить о победах было бы, конечно, смешно. Те блестящие, что все же вспыхивали с каждой из них, радовали, конечно, – постепенно я преодолевал унылую родовую карму, выныривал из бездны неполноценности... Но считать, что я познал великое счастье, данное человеку Природой, было бы несерьезно. Я понимал, что фактически к нему даже не прикоснулся.

Окружающая действительность, мягко говоря, не способствовала. Скорее, наоборот. Лучших я неизменно терял. Лишь косвенно, словно бы контрабандой, познав, как это может быть – разве что только с Раей, да и то с последствиями... – теперь даже от одной мысли о том, как это могло быть, например, с Аллой Румянцевой, у меня перехватывало дыхание. Да и с Раей на сеновале тогда, в счастливое давнее лето. Тогда она была еще чистая девочка...

Я пытался фантазировать, но даже фантазии мои наткнулись на реальную действительность, как на гранитный барьер. Что бы мы делали с Аллой, если бы наша любовь состоялась? Разве могло бы у нас хоть как-то продолжиться? С Университетом, к которому я почувствовал отторжение почти сразу же... С моим беспомощным материальным поло-

жением... С ее наверняка тотчас же проявившимся желанием «нормальной семьи, детей»... Какое уж тут «возвращение», какое Рыбинское море...

То же и с Раей. Уже тогда она жила вдвоем с бабушкой в бараке, училась в техникуме, а после него...

Мое наивное представление о свободе, мои мечты о прекрасной жизни, преклонение перед естественным женским и собственным – иллюзия? Обманывали детские мечты и надежды? «Для веселия планета наша мало оборудована...» – как писал Маяковский?

Но если так, то зачем все? Вкалывать, теряя себя, постепенно превращаясь в бесчувственный механизм, служа непонятно чему и кому, переводя пищу в «удобрение», уничтожая окружающую природу, плодя детей, которых ждет та же участь?

Эти мысли не давали покоя. Я метался в поисках смысла, заполнял страницы дневника нервным почерком. *Зачем? Во имя чего? Ради чего все?* Неужели ввали писатели и художники, рисовавшие «неземную любовь», и земную красоту женщин? Волшебство «Нимфы» Ставассера, скульптур Кановы, Родена, знаменитые стихотворения («Я помню чудное мгновение...», «...Дыша духами и туманами...», «Свеча горела на столе...»). Что это – ложь? Попытки уйти от реальной действительности в надушенные, идеализированные фантазии?

Вздохи, любовные письма, ожидаемые «алые паруса» и

«белые кони», неизвестно откуда и почему появившиеся, – это, конечно, хорошо и красиво. А то, в результате чего мы с вами появились на свет Божий, – восторженные, головокружительные соития, «сплетенье рук, сплетенье ног», нежность, таинственные глубины женского естества, стоны и вздохи, вспышки неземного блаженства, явленные как раз через «земное», естественное?... В любимой нам нравится, конечно, лицо – иногда особенно какая-то его часть, например, глаза, губы, волосы... Но почему такая дискриминация в отношении той части тела, которая неудержимо и таинственно привлекает и благодаря которой происходит самый глубокий контакт? И в которой – и вовсе самое главное! – рождается общий ребенок? В которой зачат каждый из нас... Почему столько запретов, нареканий, проклятий связано именно с этой, воистину святой частью женского тела – цветком, дающим жизнь?

Какая же махровая, постыдная, явная ложь сопровождает нас всю жизнь! Разве стыдно любить то, что воистину достойно любви? По-настоящему стыдно лгать. Лгать от трусости, от неуверенности, от незнания.

Потому и считал я, что просто необходимо учиться. «Этому» как и всему другому. Чтобы знать и не бояться.

С Зиной мы познакомились в заводской столовой. Темненькая, невысокая, очень складненькая – по-моему, татарочка. И очень милая. Я пригласил ее к себе в гости, она, не ломаясь, пришла и как-то легко, естественно, в первый же

вечер все у нас получилось. Очаровательная девчонка, думал я с радостью. Значит, может быть так – просто, естественно, без лжи, трусости и расчета? Что же касается «нежеланных последствий», то она знала, как их избежать.

Всего один раз встретились мы еще, и тут она честно призналась, что хочет замуж.

– Ты мне вообще-то нравишься, – просто сказала она. – Но так встречаться я не могу, извини. Мне двадцать уже, замуж пора. Ты знаешь, как я живу? В общежитии, нас три девушки в комнате, я приехала из другого города. Если я тебе правда нравлюсь, давай запишемся. А так я не буду.

Грустно. Хотя и понятно. Я искренне был благодарен ей, хотя мы и расстались. Она сказала, что тоже мне благодарна.

– Ты порядочный. И женщин уважаешь. За это спасибо. Жаль, что ты не можешь жениться.

Не могу забыть женский ее цветок – он был уникальнейший, удивительный: узенький, аккуратненький, чистенький, гладко выбритый – ну просто как у маленькой девочки. Прелесть! Ясно, что она за ним старательно и с любовью ухаживала. Я еще не настолько созрел тогда, чтобы посмотреть, – все, как обычно, происходило под одеялом, – но вспоминал впоследствии не раз. И словно вижу его в своем воображении. И в высшей степени уважаю.

Искренне тогда я пожелал ей успеха и до сих пор храню самую горячую благодарность Зине. Думаю даже, что судьба благосклонна прислала ее мне, чтобы не забывал. Чтобы

хранил верность своим убеждениям и мечтам.

Ни с Галей, ни с Зиной дело до фотографии по-настоящему так и не дошло... Галю, правда сфотографировал несколько раз, но получилось плохо...

Да, Зина была мне утешительным, добрым подарком перед очередным нелегким испытанием, которое не заставило себя долго ждать.

# Лора

Мой друг Антон обещал прийти с тремя девушками часам к семи, а я к тому времени должен был навести у себя в комнате относительный порядок. Но около шести случайно посмотрел в окно и увидел: они уже идут по двору! А я даже не успел переодеться!...

Лихорадочно выхвачена из шкафа вешалка с «выходным» костюмом, ныряю в брюки, натягиваю по-быстрому белую рубашку. И вот два звонка в коридоре – ко мне. Кто-то открывает дверь квартиры за меня.

Торопясь, завязываю зачем-то галстук (я ведь галстуки терпеть не могу!) и слышу топот в коридоре, потом стук в дверь. Высовываюсь, впускаю в комнату Антона одного, прося остальных подождать пока оденусь – «Вы же раньше пришли, извините!...» Антон по своему обыкновению хохочет, оправдывается за слишком ранний приход – «Нас отпустили пораньше, зато времени больше будет!» – а я сосредоточенно и лихорадочно продолжаю одеваться. Наконец, верхняя пуговица под галстуком застегнута, надет пиджак, распахиваю дверь и широким жестом прошу всех входить.

В комнате тотчас становится весело, шумно, Антон знакомит меня со всеми поочередно, я, разумеется, не запоминаю имен, потому что нужно говорить свое, улыбаться, проявлять гостеприимство. Одна из девушек мне с первого взгляда

да нравится – голубые глаза, темные волосы, ухоженное красивое лицо, живая улыбка... Помогаю снимать пальто, принимаю шарфики, шапки – на дворе март. Девушек трое, они осматриваются и тотчас подходят к зеркалу старинного бабушкиного «туалета». Чувствуют себя свободно, щебечут наперебой, Антон отпускает веселые шуточки, а Костя, его приятель-сослуживец (я вижу его впервые), с умным видом говорит какие-то пошлости – он мне не нравится. Но ничего не поделаешь, потерпим.

Антон громогласно – по своему обыкновению – заявляет: – Слушай, мы не успели в магазин заскочить. Развлеки девчонок пока, а мы с Костей мигом, тут магазин у вас близко есть, я знаю!

И они с Костей немедленно исчезают. Я остаюсь с девушками один.

Одно имя мне запомнилось: Лора. Потому, пожалуй, что она сказала именно «Лора», а не Лариса – что-то испанское или венесуэльское, что ли, – а к тому же так зовут именно ту, которая мне понравилась.

– У тебя есть стакан, Юр? – запросто говорит вдруг она. – Воды принеси пожалуйста из-под крана.

И достает из сумочки маленький букетик подснежников – нежные беленькие цветочки, стиснутые жесткими листьями ландышей. И она бережно развязывает, распеленывает этот букетик, когда я приношу стакан с водой, убирает листья, набирает в рот воды, брызгает на нежные цветочки, осторож-

но, бережно опускает их в стакан, ставит в центре стола. И смотрит на меня весело.

– Это мне парень на улице подарил, незнакомый, – говорит радостно. И смеется.

Прохаживаюсь по комнате, думаю, чем же их всех развлечь, даю ручной силомер, они живо хватают его, с визгами поочереды сжимают в своих ладошках, потом просят меня. Я выжимаю много, стараясь не показать своей гордости – как ни странно, я выжимал тогда больше Антона, хотя он был на полголовы выше меня и значительно тяжелее.

Подруги Лоры несравнимо менее эффектны: одна молоденькая, лет двадцати, миленькая, но очень уж простенькая; другая высокая, пожалуй чуть выше меня, лет тридцати, худая, с длинным носом и несоразмерно большим подбородком, застенчивая, но, как видно, добрая.

Лора подходит к радиоле, роется в пластинках и ставит нечто-нибудь – не рок, не шлягер какой-нибудь, а – итальянского певца Джильи. Я с любопытством смотрю на нее, и она отвечает мне веселым, и словно бы понимающим взглядом.

Наконец, ребята прибывают во всеоружии – бутылки выстраиваются на столе. Долой Джильи – ставим веселую музыку! Начинаются привычные хлопоты по добыванию у соседей посуды, рюмок. Антон, как всегда по уговору, разыгрывает из себя тоже хозяина комнаты, это ему хорошо удастся. Костя – истинный ловелас, актер, играет героя-любownika, он похож на кота, ленивого, томного, пресыщенного,

с печальным, зовущим куда-то взглядом. От Антона я знаю, что он кандидат наук и начальник группы, где, кажется, работает и Лора – о ней он тоже говорил, вспоминаю. Красивая, говорил, за ней все в отделе ухлёстывают. И не только в отделе.

Садимся за стол. Лора – между Антоном и Костей. За окнами постепенно темнеет, делаем маленький, «интимный» свет, дурачимся, поочередно выдумываем тосты, бутылки быстро пустеют.

– Юра – отличный парень, – вдруг говорит Лора ни с того ни с сего.

А я удивляюсь. И радуюсь.

Пора и потанцевать.

До Лоры никак не добраться – то Костя, то Антон не дают ей передохнуть, особенно Костя. Что сделаешь – они же ее привели! Я смиренно приглашаю одну из ее подруг – разумеется, старшую, потому что младшую тотчас хватает Антон.

С Лорой чаще танцует Костя – медленно, плотно прижимая ее к себе. Не отрываясь, словно гипнотизируя, смотрит на нее печально и томно, а она подмигивает нам с Антоном, дурачась, закатывает глаза. Пожалуй, она полновата, а я люблю худеньких, но тут это совершенно не имеет значения. Костя постепенно явно заводится, ей же, Лоре, по-моему, хоть бы что.

– Видишь, Юр, Костя ее любит, а она над ним издевается, – говорит вдруг моя высокая застенчивая партнерша. –

Лариска всегда, со всеми так. Никого не любит! А за ней все ухаживают.

– Что ты говоришь?! Неужели?! – якобы удивляюсь я. – Вот интересно!

Но мне вдруг становится скучно, неудобно как-то. Ужасно тоскливо! Ясно же, что эту длинную привели для меня, потому что и молоденькую никак не отпускает Антон – танцует с ней очень близко, тесно, он тоже, похоже, «поплыл». Как, впрочем, и она, молоденькая. Сейчас начнут целоваться. Ага, вот уже и начали... Только Лора все же посматривает на меня иногда, кидает этакий ободряющий взгляд, но Костя, кажется, крепко к ней прилепился.

Это было 27-го марта, в день рождения моей мамы. Так совпало... С завода к этому времени я ушел, деньги на жизнь зарабатывал исключительно фотографией в детских садах, в институте учился уже на третьем курсе. Пережил первоначальный стресс от тупости «семинаристов», регулярно ходил на «творческие семинары» (закалял шкуру), а экзамены на сессиях сдавал почти все на отлично. Милая Зина с завода как-то успокоила меня, но конечно я все равно не ощущал себя настоящим мужчиной и жил в каком-то размытом состоянии, надеясь непонятно на что. Дело, разумеется, не только в этих самых делах, а вообще. Ни один из моих рассказов – а их было уже около десятка – не был пока напечатан, хотя я прилежно ходил по редакциям, предлагал, иногда посылал по почте. Возвращали аккуратно и неуклон-

но, отзывы были сдержанно отрицательные, иногда хвалили за «наблюдательность», «свежесть взгляда» и советовали читать классиков и «книги о литературном труде». Написал я даже целых две повести – одну о Рае (под названием «Оля»), а другую о большой рыбалке на Рыбинском море (мы ездили с другом Славкой). Эту, вторую, послал на кафедру творчества, когда перестал ходить на творческие семинары после того, как рассказы мои раздолбали. Решил так: поставят зачет «по творчеству» за эту повесть – буду ходить и учиться в институте. Не поставят: аривидерчи! В ту осень, кстати, побывал и на кафедре творчества: девушка-секретарша дала почитать рецензии, данные на мои рассказы на творческом конкурсе. Одна из них была написана аж самим заведующим кафедры творчества, и там были такие строки: «То, что автор присланных рукописей имеет право учиться в Литературном институте, видно по каждому абзацу его сочинений...» Меня, конечно, это обрадовало и удивило, однако, вел наш семинар, увы, не завкафедрой. А ребята-семинаристы, очевидно, вовсе не разделяли его комплиментарного мнения. Зачет, тем не менее, руководительница нашего семинара мне поставила. По повести или нет – не знаю, но поставила. Тогда-то и понял я, что здесь то же самое, что и везде и что надо растить и закалять шкуру. Один из рассказиков, правда, а именно «Зимняя сказка» – о рыбалке с Гаврилычем – был опубликован в нашей заводской многотиражке, но потому лишь, что я был «простой рабочий», а рассказ «прошел

творческий конкурс в Литинституте»... Я чувствовал себя, естественно, в полнейшем одиночестве и жил, можно сказать, сжав зубы. Хотя с точки зрения социальной положение мое стало лучше: все-таки Литинститут. Какое-то спасение от милиции и вообще.

И вот эта вечеринка.

Итак, Лору и молоденькую Антон и Костя привели для себя. Танцуют, балдеют, кайфуют. А мне что делать? Мерзавцы они с Костей, оба мерзавцы, думаю с растущей досадой. Не успели выпить – тотчас и слиплись в экстазе. Хоть бы повременили немножко – у нас ведь компания все же. Мне-то со своей длинной что делать? Кстати, когда садились за стол, Антон, смеясь, прозвал ее Фернанделем – по имени знаменитого актера-комика с большой нижней челюстью и лошадиными зубами. Это было жестоко и грубо, но, черт побери, довольно метко. А еще он сказал, что она напоминает ему его маму, имея в виду, конечно, возраст – она наверное старше нас всех. Гад он все-таки: зачем привел ее, если так? Сволочи они с Костей оба. Сволочи.

Слава Богу, танец кончается, и я с облегчением выхожу в дебри коммунального коридора. Потом в парадное, на свежий воздух. Стою на лестничной площадке, облокотившись на перила и глядя в синеющее окно. Тоска, тоска. Все как-то однообразно и тускло, и в ближайшем будущем ничего, похоже, не светит. Вот здесь, облокотившись на перила, точно так же я поджидал Тоню когда-то – она возвращалась по-

сле поцелуев с Пашкой Васильевым. Первая моя женщина, о которой неприятно и вспоминать. Потом Рая, Лариса, Галя, Зина... Вот только разве что Зина. И – все. Грустно, грустно.

Однако надо идти обратно, в комнату, что поделаешь. Может, скоро уйдут?

Вхожу. Полумрак. И ко мне вдруг подходит Лора. Приглашает на танец? Да, новая мелодия как раз начинается. Танго. А она кладет руки свои мне на плечи. Я обнимаю ее за талию одной рукой, другой прижимаю к себе ее плечо. Она поддается покорно. Тотчас же чувствую горячий гладкий висок на своей щеке и шелковистые душистые волосы касаются моих губ.

Все исчезает... Впадаю в транс, плыву на сладких, блаженных волнах. Она приникает ко мне, часто дышит, легкие руки ее на моей спине словно слегка трепещут. Как крылья бабочки, думаю я.

Музыка кончается, мы едва успеваем разъединиться – и тут же кто-то хватает ее за руку, тянет с силой. Антон! Хмуро смотрит перед собой и как-то автоматически прижимает к себе Лору своей большой рукой. А Костя мгновенно грабастает светленькую. Рядом со мной в грустном, настойчивом ожидании уже стоит Фернандель...

– Да, вот так всегда получается, – надувая мощные губы, произносит с обидой она. – Во всех компаниях все ухаживают за Лариской. Все равно ведь без толку, потому что ей на всех наплевать. Давай с тобой потанцуем?

Наконец садимся опять за стол. Кто-то что-то рассказывает, хохочут дружно. По-моему, все опьянели крепко. Рядом со мной, разумеется, Фернандель, она заботливо ухаживает за мной, словно мама, что-то кладет на мою тарелку.

– Ты расскажи лучше, как тогда в ресторане отмочила, – низким материнским голосом обращается она к младшенькой.

Все смотрят в ожидании, а та тоненьким детским голоском произносит протяжно:

– Я пи-и-и-сать хочу!

Общий хохот, смеется и Лора. А я все в той же растерянности. Пытаюсь поймать ее взгляд, но он ускользает почему-то. Ясно: Костя начальник ее, нужно ей вести себя соответственно.

Опять танцы, опять толкотня ребят из-за Лоры, но вот Антон, кажется, уступил окончательно. Да, опять целуется с младшенькой, оба плывут далеко... И Лора с Костей как будто бы уже не дурачатся. Скоро, видать, тоже начнут.

Опять выхожу, ненадолго. Стою на лестнице. Когда же это кончится? А когда вхожу обратно, горит свет. Девчонкам пора домой, они живут далеко, уже одеваются. Вот и хорошо! Что-то им говорят серьезно, внушительно Костя с Антоном, уговаривают остаться, что ли? Не дай-то Бог! Меня даже не спрашивают, мерзавцы. Подруги настроены очень решительно, а вот Лора... Да, она вдруг снимает надетое уже пальто и смотрит на меня, улыбаясь, а молоденькая с Фернанделем

говорят мне «до свиданья», выходят. С ними выходят и ребята, без пальто, правда – видимо, до дверей проводить.

И тут до моего сознания доходит, что мы с Лорой остались вдвоем. Не глядя на меня, она подходит к письменному столу, берет какую-то книжку, листает. Чувствую, что она взволнована. Словно во сне, подхожу к ней. Она оборачивается тотчас, словно ждала. Я обнимаю ее. Она припадает ко мне, ее губы мгновенно сливаются с моими. Мы чуть не задохнулись оба и чуть не упали. Вот это да.

Но входят Костя с Антоном, и мы с Лорой тотчас отстраняемся друг от друга. Словно бы как ни в чем не бывало, рассматриваем вместе книжку. Щеки ее горят.

Ребята с подозрением смотрят на нас, а я в полной растерянности. Нас трое все-таки, и потом они же ее пригласили... Что делать, Боже мой.

– Давайте в бутылочку? – говорит Костя, облизываясь.

– Верно! Давайте! Молодец Костя! – тотчас орет Антон. – Юра, садись тут. Лариса, а ты сюда. Какую бутылку возьмем? Ларис, тебе эта нравится? Кто крутит первый?

Я послушно сажусь. Лора тоже. Напротив. Как ни в чем не бывало.

Костя ловкий парень. Разыгрывал из себя томного и медлительного, а теперь быстро хватает бутылку, крутит ее, лежащую, за середину. Она аж подскакивает, бешено вертится, наконец останавливается. Горлышко показывает на Антона.

– Ну, с тобой мы целоваться не будем, – говорит Костя и

протягивает руку опять.

– Нет, брось! – перехватывает бутылку Антон. – Моя очередь. Не хочешь меня целовать – не надо, а крутить теперь мне.

Он долго прилаживается, старательно обхватывает темную бутылку большой смуглой рукой, наконец, крутит. Горлышко останавливается на мне.

Тут Лора впервые поднимает глаза на меня. Ждет. Нехотя, неловко я все же кручу бутылку, и она показывает на Костю. Тот моментально хватается, вертит, горлышко останавливается рядом с Лорой. Мгновенно он вскакивает, тянется, наваливается на Лору, едва не сваливая ее со стула. Антон весело и громко хохочет. А Лора ничуть не сопротивляется, спокойно позволяет Косте целовать себя, а когда он отпускает ее, я вижу: опять ее щеки горят.

Но это ведь всего лишь игра, думаю в полной растерянности. Всего лишь игра, что такого. Поддержать компанию нужно, ничего не поделаешь. Теперь Лора крутит. Ее целует Антон. Теперь Антон. На меня бутылка больше ни разу не указала. В голове звенящая пустота.

– Ну, что, ребята, может быть хватит? – говорю наконец.

– А ты что, не хочешь поцеловать меня, да, Юр? – говорит Лора и смотрит на меня как будто с обидой.

Я только пожимаю плечами.

– Да так целуйтесь, чего там! – кричит великодушный Антон. – Разрешим ему, Костя?

– Ладно уж, пусть, – кивает головой Костя.

И Лора смотрит на меня, ожидая.

Дурь какая-то. Ничего не понимаю. Горечь, тоска и звон в голове. Встаю, подхожу к Лоре, наклоняюсь. И чувствую вдруг, что она обнимает меня – их она не обнимала, это я помню точно! Целую послушные, горячие губы ее – они сливаются с моими, они трепещут, – она обмякает вся и даже стонет слегка.

– Вот это да! Ну, вы даете, вот это я понимаю, а что ты, Костя! – кричит Антон и громко хохочет.

Это я слышу словно сквозь вату. Голова кружится, возвращаясь на свой стул, я чуть не падаю. Господи, что это? Как надо? Как правильно? Боже мой, Боже мой... Лора! Я ничего не понимаю, Лора...

Но еще карты. Игра «в дурака». Предложил Антон – чтобы тот, кто выиграл, целовался, с кем хочет. Ясно. Я играю машинально, как заведенный. Ступор какой-то. Ничего не понимаю... Ни я, ни Лора не выигрываем ни разу.

Время полночь, и Косте, как выясняется, наконец-то пора. Как потом сказал Антон, Костя женат, у него дочка маленькая родилась недавно, а спецсеминар, на который он, якобы, пошел сегодня, давно должен бы кончиться. Надо ему бежать, чтобы успеть на метро. И к жене с дочкой. С неожиданным проворством Костя ловко выскальзывает из комнаты, слегка прищемив дверью свой пухлый портфель.

А мы остаемся втроем.

– Ребята, я правда останусь у вас, хорошо? – растерянно говорит вдруг Лора. – Мне далеко ехать, опасно... Юр, у тебя есть раскладушка?

Я не успеваю ответить.

– Ну, что ты, Лариса, конечно, мы только рады будем! – орет Антон. – Зачем раскладушка, мы и на тахте поместимся, не подеремся. Стели, Юра!

Лора стоит посреди комнаты, растерянно и покорно смотрит.

– У вас есть брюки какие-нибудь спортивные? – спрашивает наконец.

– Юра, поищи ей брюки, – командует Антон.

Я принимаюсь искать. И нахожу. Лыжные.

– Пойдет? – спрашиваю машинально.

– Если других нет, то пойдет...

Улыбается.

Трикотажную кофту свою она снимает сама. Антон аккуратно стягивает с нее и бюстгальтер.

– Какая грудь у Ларисы, ты посмотри, какая отличная грудь! – с искренним восхищением говорит он, и я смотрю.

И в полумраке комнаты, в слабом свете уличных фонарей вижу это нежное чудо – два округлых, словно светящихся холмика с заострившимися, торчащими вверх сосками. А большая смуглая рука Антона ласкает Лорину грудь. И я вижу, как восставшие, возбужденные соски упорно проскакивают между пальцами.

А Лора смотрит на меня смущенно. И гордо...

Потом мы лежим на тахте: Лора посередине, Антон с внешнего края, а я у стенки. И вдруг осознаю, что целую Лору поочередно с Антоном. Ощущаю время от времени, что творится что-то нехорошее, наверное... Но это же так приятно! И самое, самое главное: ведь ей нравится! С ее стороны нет никакого протеста! Нежность, покорность... Она волнуется, дышит часто, и я целую ее заботливо, бережно, нежно, я стараюсь, чтобы получалось как можно лучше. Я так хочу ей добра! И она с такой готовностью отвечает... Боже мой, Боже мой...

– Мы... осторожненько... Ладно? – тихонько вдруг говорит Антон Лоре.

Что такое? Я не понимаю. А Лора вздрагивает, я чувствую. Но молчит. О чем он? В голове у меня абсолютная муть. Но ощущаю вдруг, что кто-то из них дрожит мелкой дрожью. Лора? Антон?...

О, Боже мой. До меня доходит, наконец, и я вижу: она согласна! Это совершенно ясно. Она согласна и она ждет – молчит. Дело, выходит, за мной? О, что же делать... Словно вихрь подхватывает меня, мне плохо, голова идет кругом. Лежу неподвижно во мраке, страдаю. Молчу.

И тут Антон встает:

– Я сейчас приду... подождите минутку.

Выходит в коридор.

Что происходит со мной? Не думая, не рассуждая – го-

ловой в омут! – я вдруг поворачиваюсь к Лоре, зарываюсь лицом в ее грудь, так исцелованную уже нами, в ее нежную, полную, такую податливую, такую прохладную грудь. И она обнимает меня. Нежность, непонятное чувство вины, радость, горечь... Я не хочу, не могу думать – целую в иступлении ее шею, губы, глаза, волосы. И она отвечает мне. И, наверное, слезы у меня выступают. Но – вот удивительно! – тело мое вдруг становится гибким, послушным, оно оживает – исчезла скованность! Она обнимает меня нежно, прижимает к себе, я теперь чувствую себя сильным, любимым, добрым. Я люблю ее!

Но входит Антон.

И словно мгновенное пробуждение – трезвость. Что? Что происходит?...

Антон ложится, тахта тяжело оседает под ним. Он опять поворачивается к Лоре и пытается целовать. Но что-то, очевидно, теперь не так.

– Кажется, что-то произошло? – говорит он и с подозрением смотрит то на меня, то на Лору.

Я молчу, я не знаю, что сказать. И правда не знаю. Сумбур в голове полный.

А Лора вдруг тихо говорит мне:

– Юрочка. Ты не целуй меня, а то может случиться что-то очень нехорошее. Не целуй меня сейчас, хорошо?...

Я не понимаю, почему она так и только киваю послушно.

Но она вдруг поворачивается ко мне. То она лежала на

спине, соблюдая наше с Антоном равенство, но тут вдруг решительно поворачивается ко мне. И обвивает мою шею руками. И шепчет на ухо:

– Какой ты хороший...

Я?! Хороший?! Сердце колотится оглушительно, я в полном трансе опять. А Лора приникает всем телом – и грудью, и животом, и ногами своими. Я взлетаю... Никогда, никогда ничего подобного...

– Какой ты хороший, – повторяет она и прижимается лицом к моему лицу.

А потом вдруг осторожно, мягко просовывает руку под ремень моих брюк (да-да, я даже и не снял их тогда – стеснялся!). Ее нежная рука охватывает мою распаленную восставшую плоть, я чуть не задыхаюсь от острого, мгновенного блаженного чувства – словно вихрь подхватывает и несет, сердце выпрыгивает из груди. Взрыв! Разрядка!... Финал.

– Милый мой, – говорит она тихонько, ласково, а у меня все еще бурная, блаженная разрядка толчками.

Она нежно помогает рукой... Мокро, скользко, приятно и почему-то совсем не стыдно.

А потом мы уснули.

Проснулся я первым. Едва открыв глаза, увидел на подушке перед собой лицо Лоры – спящее, ставшее во сне мягче, роднее. Красивое очень, словно с обложки яркого иностранного журнала. Наполовину прикрытое черными волосами. Повернутое ко мне... Я не успел как следует разглядеть его

– глаза приоткрылись. Голубизна вспыхнула между ресницами, пухлые губы тотчас растянулись в улыбке. Она пошевелилась, и тут я вспомнил, что одна ее рука всю ночь обнимала меня. Она и сейчас уютно покоилась на моем бедре. Сложные во мне были чувства. Но несмотря ни на что звенящая радость пронизывала. Странное ощущение: как будто бы раньше вокруг было холодно, а теперь стало тепло. Как будто холодные руки и ноги мои отогрелись.

Проснулся Антон.

– Ну, что, голубки, пробудились? – громко говорит он, потягиваясь.

Стыдно перед ним, но я чувствую благодарность: кажется, он простил. Простил это наше «предательство». Я по-прежнему в полной растерянности, но теперь мне почему-то легче.

Антон первым соскакивает с тахты, натягивает брюки (он-то, в отличие от меня, их снял...) и бежит умываться. Лора просит отвернуться и начинает одеваться тоже.

– У тебя есть тряпочка или вата? – спрашивает она.

Я даю чистый носовой платок. Она поворачивается спиной, чуть-чуть наклоняется. Ее рука с платком ныряет вниз... Мое сердце сжимается...

Антон входит, когда она уже причесывается перед зеркалом. А я, облачившись в белую свою рубашку, сижу на тахте и смотрю. Я все еще ничего не понимаю, плыву. Но как бы со стороны вижу себя не случайно в белой рубашке. Имен-

но в белой. Антон отправляется ставить чайник на кухню, а Лора подходит ко мне и прислоняется лицом к моему лицу. Родная...

– У тебя есть записная книжка? – спрашивает она.

Я даю. Она записывает свой телефон. Рабочий. Читаю: Барринова. Лора Барринова. Я сижу, не в силах пошевелиться.

Они наскоро пьют чай и уходят. Им на работу вместе.

Некоторое время я по-прежнему сижу на тахте неподвижно. То и дело в груди возникают спазмы: то радость рвется наружу, то жжет печаль. Хочется и смеяться, и плакать. Странная какая-то, дурная истерика. Наконец, горячая нежность к ней затопила все, и на глаза напалзают слезы. Такая красивая, Боже мой, такая нежная и пылкая... Неужели?...

## Утоли мои печали...

Днем мне предстояло ехать в один из детских садов, договариваться о съемке. Съездил, договорился. А потом стал звонить Лоре.

Первый наш разговор прекрасен – по инерции ночи. Я таил от нежности, я не сомневался, что то же самое происходит с ней. Правда, она сказала, что не может сегодня – «Сегодня мы будем отдыхать, да?» – а вот денька через два-три... Тон ее, конечно, был не тот, что ночью («Какой ты хороший...»), но это понятно: она ведь на работе, среди людей.

И я был среди людей тоже. Во второй половине дня предстояло идти на очередной «творческий семинар» в институте.

Удивительно не только то, что вечеринка, на которой мы познакомились, была в день рождения моей матери. Но – к тому же еще! – как раз накануне я побывал в редакции одного из молодежных журналов, где понравился мой очерк об Алексее Козыреве – его хотели как будто бы напечатать даже, сам заведующий отделом его одобрил, но особой надежды не было: зам главного редактора был как будто бы против... Но зато заведующий отделом предложил мне интереснейшую работу: написать проблемный очерк о преступности несовершеннолетних! Дело в том, что в последнее время преступность в нашей прекрасной стране сильно вырос-

ла и особенно как раз в среде молодежи, и особенно – среди совсем молодых. И – опять особенно! – участились случаи изнасилований... Вот на это, последнее, и просил обратить **ОСОБЕННОЕ** внимание зав отделом... Станным – и знаменательным! – казалось, что он поручил это мне.

Мне, едва перешедшему порог мужской зрелости. Мне, только еще вступающему в великую и прекрасную Страну Пола. Мне, пока еще совершенно беспомощному перед великой магией Красоты...

Дали соответствующее направление из журнала, я тотчас связался с ЦК комсомола, там тоже дали бумагу, к тому же познакомили с «материалами», а еще заведующий отделом ЦК звонил в отделения милиции, прокуратуры, даже в тюрьму. Чтобы меня принимали и давали нужную информацию. Я начал погружаться в это мрачное, бурное море – множество судеб раскрылось передо мной... А одновременно и сам был как бы не совсем в рамках закона, ибо занимался «подпольной» фотографией в детских садах, официально нигде не работал (что считалось у нас тогда почти преступлением), а на вечеринке, которая состоялась у нас буквально на следующий же день, чуть-чуть не произошло то, что было бы, положим, не изнасилованием, однако «групповым» все же... В дальнейшем, знакомясь с судебными и следственными делами в прокуратурах, милициях, я понял, как все это запросто: достаточно было бы Лориного заявления, к примеру, о том, что нас было с ней двое – а сначала и вовсе аж трое, –

чтобы... Многие вполне невиновные, как мне думается, ребята пострадали от того, что сначала, как будто бы, все было по согласию с девичьей стороны, а потом кто-то из родственников ее накрутил, или она сама передумала...

А тем временем Гагарин уже побывал в космосе, русское слово «спутник» стало международным, по всей стране сеяли кукурузу, осваивали целину, время наступления коммунистического счастья было объявлено – 1980-й! – к этому году каждая семья будет жить якобы в отдельной квартире! – а пока строили блочные и панельные пятиэтажки и девятиэтажные башни (потом их назовут «хрущёвками»). Хрущев торжественно посетил Америку, уже состоялась первая американская выставка в Москве и Международный фестиваль молодежи, кое-какие фильмы и книги стали проникать сквозь «занавес», опубликованы первые вещи Александра Солженицына... А милиция уже не справлялась с преступностью, ей помогали дружинники-общественники, шефы-комсомольцы воспитывали «неблагополучных детей», преступность сильно помолодела, и цифры ее неуклонно росли...

Мы с Лорой встретились дня через три – договорились по телефону, я ждал ее в скверике, неподалеку от Академии. Пришла, эффектная и прекрасная, и мы тотчас поехали ко мне на автобусе. Это была ошибка – надо было на такси, потому что в автобусе будничная толчея, и на мою красавицу недоуменно и нагло смотрели. Комната моя тоже потеряла

при свете дня хотя и убогую, но все же романтику поза-позавчерашней ночи. И все же...

В этот вечер и ночь я испытал то, чего пока не испытывал никогда. Она стонала, кричала, и она оправдывалась передо мной за это:

– Я давно не была с мужчиной, понимаешь... Не хочется ведь с кем попало, правда?

Я верил...

Но вообще-то получилось у меня не совсем хорошо. Слишком волновался, слишком нравилась она мне. Слишком потерял голову. Слишком. Весь мой прошлый опыт полетел к чертям, да и какой он был, опыт? Словно первая женщина она была у меня! Того, что я достиг в победный вечер с Раей, не было и в помине – я абсолютно не ощущал себя умелым, уверенным, – хотя, с другой стороны, как бы прикоснулся к миру, о котором раньше лишь подозревал. Мы словно плыли в огненном вихре, мы взлетали в многоцветное феерическое – космическое! – пространство, наше единение, слияние казалось полным, неразрывным, счастливым, ее стоны и крики были божественной музыкой («Песнь Песней!»). Только в снах у меня бывало нечто похожее, да и то не в такой степени. И все же... Настоящего финала у нее, по моему, так и не было, хотя и подошло очень близко.

– Это даже хорошо, что так, – сказала она, словно оправдываясь. – А то сердце могло бы не выдержать.

А меня обожгло горечью: не смог! Не выдержал...

Говорила она нежно, заботливо, как-то по-матерински. И все же в меня заполз холод. Так и не научился! Беда...

Вторая встреча состоялась лишь недели через две – несмотря на мои звонки и бесконечные ожидания. Она ссылалась на то, что очень много работы, что дома много дел, к тому же как раз сейчас разводится с мужем и приходится с ним на этот предмет встречаться. Хотя давно уже вместе они не живут. Собственно и встретились-то мы всего на пятнадцать минут – ко мне она не поехала, – потому что встречалась с кем-то другим... Я видел его, он подошел, когда мы сидели в сквере на лавочке, неподалеку от Академии, места ее работы. Молодой человек, достаточно интеллигентный, в очках.

– Я сейчас, – сказала она, увидев его. – Подожди минутку.

Мы сказали еще несколько слов друг другу. Она встала и пошла с ним. А я, побежденный, непонятый, посидел немного и поехал домой...

Да ведь и две недели между встречами были ужасны.

Да, конечно, они были весьма насыщены – я побывал в нескольких отделениях милиции («детские комнаты», инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска), в районных прокуратурах, встречался со следователями, «комсомольскими шефами», ребятами из «неблагополучных семей», два раза по несколько часов был в тюрьме – говорил и с сотрудниками, и самими ребятами-заключенными, посетил даже женскую, точнее – девичью – ка-

меру и один на один беседовал с осужденными девочками. Девушка – и тюрьма, что может быть противоестественнее, стыднее для окружающих... Кроме этого – параллельно – пришлось фотографировать детей в двух садах, печатать фотографии срочно. С малышами я как-то всегда быстро находил общий язык... И так странно было переходить из одного мира в другой, понимая, что они связаны, что никто не может сказать, какими станут очаровательные маленькие существа, что те, с кем я общался в связи с порученным очерком, тоже когда-то были такими же – наивными, непосредственными, радостно идущими во «взрослый» мир...

И слишком часто – чаще, чем нужно бы – звонил Лоре. В первую же нашу встречу она много рассказывала о себе: из близких одна только мать, она сильно пьет, продолжает водить мужиков – разных, – отец давно умер, а в семнадцать лет, когда Лора была еще девочкой, один из маминых ухажеров ее изнасиловал. Девочкой она была красивой – естественно! – и мужики всегда преследовали ее, преследуют и сейчас, мужиков она вообще ненавидит, вышла замуж, тем не менее, несколько лет назад, но жизнь с ним не сложилась, и сейчас не живут вместе. Работала одно время «в торговле», сейчас чертежницей, получает «семьдесят рэ», приходится подрабатывать, оставаться на работе допоздна. Машинально я отмечал, тем не менее, что одевается она весьма эффектно, по крайней мере насколько я мог судить по двум нашим встречам...

Но это не все.

Дело в том, что мы продолжали дружить с Антоном, и он не раз оставался у меня на ночь – Академия, где они с Лорой работали, была недалеко от меня, а до дома, где он жил, ехать довольно далеко. К тому же Антон тоже хотел стать писателем, да в общем-то уже и был, первые рассказы его мне очень нравились. Хотя, как и я, он ни разу еще не печатался. Поговорить нам, конечно, было о чем. Естественно, не раз говорили о Лоре.

– Не верю, что она тебе отдалась, это странно, – сказал он, когда я радостно поделился с ним результатом нашей первой с ней встречи наедине. – Это нелогично для нее. Нет, я понимаю, зачем тебе врать, но все равно не могу поверить. Она же хищница, я-то знаю. И обыкновенная дрянь. Я же общаюсь с ней на работе каждый день, не забудь. Курим вместе в коридоре, встречаемся. Насколько я знаю, она же с Костей близко была после той вечеринки нашей. Ну, это еще понятно – он все же начальник, – а ты-то ей зачем? Ей замуж нужно, больше ничего, или денежек побольше получить за постель. А с тебя что взять?

Я взрывался. Как?! Ты не веришь?! Что же я врать, что ли, буду? Зачем мне это?! Но дело не в том. Почему ты о ней так говоришь – ты же раньше, до того, как ее с другими привел, совсем не так о ней говорил, ты расписывал, какая она красивая...

– Ну и что? Да, красивая, но дрянь. Ты забыл? Ты забыл,

как она целовалась с нами троими, а потом отдаться нам с тобой обоим была готова, ты забыл?! Это ты не захотел, она-то за милую душу! Ты просто боялся мне проиграть в половом смысле, я думаю...

– Но ведь мы же... Мы сами! Это мы ее довели. Она живой человек, что ты хочешь... А потом... Потом, когда я... Когда мы...

Я задыхался.

– Вот именно! В тебе дело, а не в ней вовсе! Знаешь, если бы я захотел... Я бы тоже. С ней это запросто, я не хочу вот и все! А в ту ночь ты зря. Именно это ей и нужно было! С двоими. Устроили бы хорошенькое Гаити недельки на две, и она была бы довольна...

Я не в состоянии был слушать такое и не хотел слушать. За что он ее так? Я четко помнил все – и подснежники, и Джилы, и наш первый танец, и поцелуи. И потом, когда она была у меня – вообще... А это – «Какой ты хороший...»? И то, что рассказывала о себе... Отца нет давно. Мать пьет. В семнадцать лет изнасиловали... Это же представить только такую жизнь! Что же ты хочешь? И тем не менее – все равно, все равно она... Эти подснежники, эти улыбки ее, нежность, то, что ко мне пришла... Она – живая! Глупости ты несешь!

– Ты пытаешься реанимировать ее, а она мертвая уже, – убеждал меня Антон, тем не менее. – Какая там живая! Опомнись! Ты влюбился просто. Тебе трахаться с ней очень понравилось, вот ты и... Ты, наверное, еще не чувствовал

как это по-настоящему. А она... Ты словно ток пропускаешь через мертвую лягушку – лапки дергаются, а ты и рад: живая! Она мертвая, я же вижу, знаю. Я общаюсь с ней каждый день, не забудь. Как ты думаешь, почему она в Академии работает, а? Потому что мужиков много! В ресторан, в кафе водят, подарки дарят. А то и просто деньгами. А с тебя что взять? Ну, хорошо, вы потрахались, как ты говоришь, а дальше что? Почему больше не встречаетесь? Она тебя будет за нос водить, вот посмотришь, а встречаться не будет. Зачем ты ей? Если и было раз, как ты говоришь, то ведь из интереса только! Развратная она. Сучка красивая! Почему бы и не попробовать, коли есть возможность... Она твоего мизинца не стоит, если уж на то пошло! Ей совсем не нужно то, что тебе – ей бы присосаться к кому-нибудь: кушать вдоволь, одеваться, напиваться... И в сущности все равно с кем. Это тебе всякие эмпиреи нужны, а ей... Говорят, что она с шоферами-дальнобойщиками трахалась, Костя рассказывал...

Я злился, я пылал негодованием, я мучился, слушая его. Но не мог не слушать. Временами я ненавидел его за жестокость, за черствость. Но с чувством, похожим на ужас, ощущал одновременно, что он... в чем-то... пожалуй, прав. Нет, он не прав, конечно, по большому-то счету! Не прав, конечно! Но... в чем-то...

А она действительно не хотела встречаться со мной. Но не говорила прямо. Все время какие-то причины «веские», постоянно причины. То дела на работе по вечерам, то – в вы-

ходной – дома «стирка-уборка», то «с мужем встречается», чтобы что-то «решить». То говорит, что на футбол идет, то на волейбол... То на какой-то концерт. Но только не ко мне. Странно.

Я, что называется, не находил себе места. Ну, хорошо, ну, допустим, Антон даже в чем-то прав. Но ведь и другое в ней есть, и ДРУГОЕ! – мучительно думал я. В нем, В ДРУГОМ, истина! Ей надо помочь, помочь... Я же видел, что происходит вокруг, я вовсе не заблуждался, не был наивным – и не такое видел во время своих хождений по поводу очерка! – но это же не значит, что теперь на всех наплевать, надо же помочь, если можешь, нельзя же так-то. Если любишь – спаси! А сам я? Достаточно вспомнить мне свою жизнь... Да, ни черта не помогли мне, если не считать сестры, бабушки... Впрочем, нет, нет, неправда! А Валерка Гозенпуд, к примеру, а Миша Дутов, а Владимир Иванович Жуков, охотник, а Гаврилыч-рыбак, а... Да же... «Если можешь – спаси!»

Но, Боже мой, что я мог сделать. Ей действительно нужен муж и, конечно, деньги. Но какой я муж... А уж о деньгах и говорить не приходится. Да и речи не могло быть о моей женитьбе вообще на ком бы то ни было и о том, чтобы зарабатывать деньги просто «на жизнь». Я же не зря ушел из Университета, не зря вообще жил так, как жил. Но ведь и не обязательно это! А просто встречаться? Разве не нужен ей друг? И потом... Это первый раз так получилось, не в полной мере, но я ведь научусь, первый раз вообще не счита-

ся, я ведь уже делал успехи, все будет нормально, а ведь она так реагировала на меня, так кричала – не случайно ведь это, в этом истина. «Сердце могло не выдержать...» Все будет у нас хорошо, я уверен, только бы...

Но встретиться мы никак не могли. Один раз, правда, в двухнедельной этой круговерти договорились все же – у станции метро, в воскресенье, – я ждал ее и не дождался. Хотя она сказала потом, что была, просто у другого выхода стояла... Я верил, но сомневался: я ведь у другого выхода тоже был, ее там не видел...

И вот, наконец, эта встреча на лавочке. Последняя наша, как оказалось. Она была по-прежнему очень красива, ухожена, хорошо одета, но... Чужая совсем. Как будто и не было у нас ничего. У меня странное ощущение было: она словно оделась в стеклянную пленку. Мне буквально хотелось взять ее за плечи и трясти, чтобы проснулась, опомнилась. Что происходит? – мучительно думал я. Что происходит?! Какой-то невменяемой она была, непонятной. Невозможно было сопоставить то, что я видел перед собой, с тем что тогда у нас было... Что же делать, Господи, что же делать?

Она встала и пошла с парнем, который ждал неподалеку. Я посидел еще немного. Я сам чувствовал себя почти мертвым, пустым. Потому что ощущал уже: дело не только в ней. Со столькими судьбами пришлось мне столкнуться и раньше, а теперь особенно, в связи с очерком. Все похоже. Все очень похоже! Одни только просверки иногда. А вообще-то мрак.

Почти полный.

# Зомби

Да... Да... Общаясь со многими людьми в своей жизни, я много раз убеждался, что подавляющее большинство очень рано перестает задаваться вопросами: зачем они живут? Во имя чего? Это лишь в первые годы после появления на свет, открывая мир, ребенок действительно ощущает себя гостем и задает вопросы. Но очень скоро целый сонм учителей и воспитателей набрасывается на него с криками, советами, требованиями – и в этом шуме чисто природное, изначальное стремление к познанию мира устало замирает, человек перестает сопротивляться и подчиняется мнению и воле того или тех учителей, воспитателей, что оказались сильнее и ближе в силу тех или иных обстоятельств жизни. Вот это я и называю «становиться на рельсы». Летят в небытие мечты, планы, надежды, главным становится инстинкт выживания, а не вопросы «зачем, как, почему». И в этих условиях, конечно, притупляются изначальные зрение, слух, способность к трезвому осмыслению – человек перестает пользоваться теми возможностями, что дала ему природа от рождения, он перестает даже думать – ибо постоянно наталкивается на сопротивление чужих настойчивых требований и волю. Да ведь и то правда: как можно сохранить свой собственный, только тебе присущий голос в оглушительном шуме чужих голосов, которые не просто орут кто во что горазд, но постоянно

требуют от тебя чего-то. Причем ты ведь только пришел в этот мир, только еще осматриваешься, обживаешься в нем, а эти крикуны и командиры уже давно обитают здесь, они не дают тебе шагу шагнуть без своих наставлений, замечаний, советов, упреков, призывов... Как устоять? Тем более, что ты ведь и на самом деле еще не знаешь себя, не знаешь, кто ты, чего ты хочешь на самом деле, каков твой истинный голос, что на самом деле правильно и хорошо. И это не говоря о том, что подавляющее большинство наставников твоих вовсе не думают о тебе, хотя без конца твердят о том, что хотят тебе добра, хотят как лучше. Подавляющее большинство думает исключительно о себе – в тебе они видят лишь свое отражение и средство для каких-то своих целей, им глубоко наплевать на твою единственную и неповторимую личность, им бесконечно важна лишь своя. Сколько матерей и отцов, считая себя безусловно правыми, буквально давят, душат психику своих детей, заставляя их поступать так, как считают они, «взрослые», хотя сами в подавляющем большинстве случаев прожили свою жизнь совершенно бездарно, а если и добились чего-то в смысле карьеры и так называемого «материального благополучия», то это ведь не более чем весьма бледная пародия на то, о чем они в детстве и юности мечтали! Не говоря уже о том, что ведь их дети – это вовсе не есть их буквальные копии, и у них, у детей, от рождения могут быть совсем другие мечты и желания, чем у «взрослых» родителей. Но нет. Отцы и матери все равно

выступают в роли непререкаемых мудрецов и руководителей и сплошь да рядом не терпят никаких возражений. Не все, конечно, не все. Но, увы, слишком многие... Хотя есть и другая крайность – полная беспомощность перед вопросами жизни и панические метания в связи с этим от одних рельсов к другим: ведь «родительский долг» остается... Истерики, скандалы, слезы и крики, полное безволие именно тогда, когда нужно проявить твердость, когда действительно нужно – спасти... Вместо того, чтобы спокойно осмотреться вокруг себя и попытаться увидеть, услышать то, что не видели, не слышали раньше, потому что кто-то (или что-то) заставил или научил закрывать глаза и зажимать уши... Вместо того, чтобы попытаться разобраться и объяснить, понять...

Вот так люди и умирают при жизни. Становясь бесчувственными, слепыми, глухими ЗОМБИ, которым и объяснить-то уже ничего нельзя и которые, к тому же, увы, в большом числе случаев агрессивны и злобны. Мы ослепляем и оглушаем друг друга и всеми силами стараемся прикончить того, кто не согласен с нами, кто пытается видеть и слышать по-своему, без наших мудрых наставлений, советов, подсказок. Мы упорно, настойчиво делаем это вместо того, чтобы открыть собственные глаза, прочистить свои уши, понять что мы ведь на этой планете все вместе, зависим друг от друга, связаны неразрывно, нам никуда не деться, но жизнь одна, и прожить ее действительно надо так, «чтобы не было мучительно больно», чтобы в конце ее ты мог сказать: да,

я жил, я всегда стремился к свободе, я развивал свое тело, свои чувства и разум, я использовал то, что дано мне природой, я не подчинялся тем, кто хотел меня использовать для своих целей, я был верен не «хозяевам» в человеческом облике, а тому, что дало мне жизнь – Природе и той величайшей силе, что создала этот великолепный, прекрасный мир и меня в том числе.

## Дальнейшее

Мой очерк не получался. То есть я, разумеется, писал его – он разрастался, ветвился, стержня было, собственно, три: задание редакции и судьбы «маленьких преступников»; история с Лорой; моя собственная судьба... – но он не получался таким, каким хотели бы его видеть в журнале. Да где уж. Им ведь нужно было бы показать, как доблестный комсомол (журнал-то был органом ЦК ВЛКСМ) борется с «пережитками проклятого прошлого», с безобразным явлением, которое называется «преступность несовершеннолетних». И как шефы-комсомольцы, а также, разумеется, комсомольские органы побеждают в этой благородной борьбе... Причем же тут Лора, причем тут я? А я считал, что причем. И даже очень. Потому что мы связаны все, горя одного не бывает, «колокол звонит по тебе» – как точно сказано в романе, который напечатан у нас недавно и стал одним из популярнейших, хотя и рожден в стране, где царствует проклятый капитализм... Да еще, конечно, так называемый «секс». Уж если писать, так писать как следует, договаривая до конца – и я нарочно начал свой «очерк» не с чего-нибудь, а с вечеринки нашей с Антоном, Костей, Лорой, потому что как раз накануне получил задание редакции, и все это потом сплелось. Разумеется я писал честно – все как и было. Только наивный дурак мог рассчитывать, что такое в советской стране

напечатают, верно. А я, представьте, вовсе наивным дураком себя не считал: я вовсе не рассчитывал на то, что его, мой «очерк», который плавно перетекал в большую повесть или, может быть, даже роман, в молодежном журнале оторвут с руками. Но на это мне было наплевать ровным счетом. Я хотел написать ПРАВДУ, а там уж будь что будет. Но я думал, что, может быть, напечатают хоть кусочек – например, одну из историй о некой Лиде Митякиной, которая действительно в каком-то смысле спасла парня, который родился в тюрьме... Увы, это не прошло тоже. Когда я все же попытался как-то так сделать, чтобы кусочек этот стал «проходимым», приемлемым для редакции и цензуры, у меня и на самом деле получилось паршиво.

Фактически я разочаровал заведующего отделом, и получилось, что здесь я тоже потерпел позорнейшее фиаско. Как с Лорой. Хотя она, Лора, и стала формально все же моей «завоеванной» женщиной. Шестой по счету.

Вывод? Учиться! Разумеется, о том, чтобы падать духом, не было речи. Впервой ли? Нет, ребята, не выйдет. Ни в каких не в «обстоятельствах» дело. А просто я еще не научился как следует. Ни с женщинами, ни с редакциями. Ни там, ни там. Параллельно.

«Нимфа», «Купальщица»? Какое там... Не до того пока. Что же касается великого итальянского любовника, перед которым я после Стефана Цвейга искренне преклонялся, то хотел бы я посмотреть на него в нашей чудесной стране, в

наше прекрасное советское время и с моими, например, финансовыми возможностями. Но все еще впереди, думал я. Природа – жива! А это самое главное.

## Седьмая, восьмая, девятая...

Да, конечно. Нельзя было падать духом ни в коем случае. Я продолжал ходить по милициям, прокуратурам, еще раз посетил тюрьму – встретился с одним из парней, который обвинялся в групповом изнасиловании, хотя, судя по материалам следствия, насильником вовсе не был. Его «жертва», семнадцатилетняя дочка обеспеченных номенклатурных родителей, охотно поехала с ним и его приятелем в какой-то пустой сарай на одной из железнодорожных станций, а перед тем в подъезде дома за милую душу пила водку из горлышка – с ребятами, с которыми только что познакомилась. Там, в сарае, естественно, продолжилось празднество, а затем и состоялось общее соитие, причем как будто бы к общему удовольствию, хотя... Хотя девчонка до того момента была девственницей, а в сарае ее лишилась. Тем не менее, расставаясь, все трое договорились о новой совместной встрече, но девушка, придя домой, увидела у себя кровь, испугалась и обо всем рассказала тетке, на попечении которой жила, так как оба ее родителя находились в зарубежной командировке. Тетка в свою очередь перепугалась за доверенное ей дитя и заставила девчонку написать заявление в милицию. Машина советского правосудия завертелась. Вместо новой встречи с девушкой, ребята оказались в тюрьме – в следственном изоляторе. Одному из них, несовершеннолет-

нему, с которым я встречался, грозила «десятка» – по словам женщины-следователя, – а другому, которому уже двадцать с лишним, светила «вышка», ибо так как у девушки шла кровь и нашлось несколько синяков, выходило не просто «групповое», а и «с телесными повреждениями». И это при том, что девушка уже не чаяла, как взять свое заявление обратно, хотя ей не позволяла тетка. Но, ко всему прочему, ведь в стране объявлена «решительная борьба с преступностью», а делу уже дан ход, так что «меч правосудия» уже поднят и опустить его просто так вроде как несолидно...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.